



Джулиан  
**Барнс**  
НЕЧЕГО  
БОЯТЬСЯ

Большой роман

Джулиан Барнс  
**Нечего бояться**

«Азбука-Аттикус»

2008

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

**Барнс Д. П.**

Нечего бояться / Д. П. Барнс — «Азбука-Аттикус»,  
2008 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-12504-9

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10/2 главах», «Любовь и так далее», «Метроленд», и многих других.

Возможно, основной его талант – умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу подвластно все это и многое другое. В книге «Нечего бояться» он размышляет о страхе смерти и о том, что для многих предопределяет отношение к смерти, – о вере. Как всегда, размышления Барнса охватывают широкий культурный контекст, в котором истории из жизни великих, но ушедших – Монтеня и Флобера, Стендаля и братьев Гонкур, Шостаковича и Россини – перемежаются с автобиографическими наблюдениями.

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-12504-9

© Барнс Д. П., 2008  
© Азбука-Аттикус, 2008

## Содержание

Нечего бояться	7
Конец ознакомительного фрагмента.	38

# Джулиан Барнс

## Нечего бояться

Julian Barnes

NOTHING TO BE FRIGHTENED OF

Copyright © 2008 by Julian Barnes

All rights reserved

© С. Полотовский, перевод, 2016

© Д. Симановский, перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство Иностранка®

Джулиан Барнс берется за тему, которая не всякому по зубам, – и достигает поразительного успеха.

*The Scotsman*

Барнс написал, быть может, лучшую свою книгу последней декады: трехсотстраничное эссе под названием «Нечего бояться»...

*Кирилл Кобрин (Polit.ru)*

Огромное, на 400 почти страниц, эссе о смерти, куда инкорпорированы анекдоты из барнсовской жизни, байки о его родителях, истории из жизни французских писателей и русских композиторов, воображаемые диалоги с читателями и критиками; много цитат из Флобера и Жюль Ренара (французская литературно-философская традиция всегда была для Барнса удобным интерфейсом, позволяющим размышлять о чем-либо с большей степенью абстрактности, чем обычно принято у англичан). Теоретически «Нечего бояться» можно назвать автобиографией – здесь много очень личной информации об авторе – но, парадоксальным образом, неавторизованной; сам Барнс, во всяком случае, прямо заявляет, что нет, это не автобиография. Барнс все время так или иначе крутится вокруг темы смерти – но не претендует на то, чтобы закрыть тему; это не окончательная-правда-о-смерти или, там, пособие-по-искусству-умирать-достойно; что Барнса на самом деле интересует, так это характеры людей, как они раскрываются перед лицом смерти; а еще – Бог, правда, память, воображение, лицемерие, искусство. В любом случае Барнс не скрывает, кто он: не просто частное лицо, но писатель, который всю жизнь выдумывал неправду для того, чтобы высказать какую-то Правду.

*Лев Данилкин (Афиша)*

Барнс – удивительный писатель. Безусловно, английская литература пестрит именами, заслуживающими, как минимум, такого определения, хотя зачастую эпитеты «талантливый» или даже «гениальный» тоже будут уместными. Но Барнс в первую очередь удивительный. Ему свойственен такой непостижимый лаконизм, от которого захватывает дух. И этим небольшим количеством страниц он может сказать столько, сколько иные не выразили бы, написав произведение размерами с «Войну и мир».

*LiveLib.ru*

Потрясающе!.. Пожалуй, это самая искренняя книга в писательской карьере Барнса – и самая забавная, несмотря на всю серьезность темы.

*Daily Telegraph*

Восхитительная смесь личных воспоминаний, семейной истории, литературной критики и философских размышлений.

*The Philadelphia Inquirer*

Это, говорит нам Барнс, не автобиография. Скорее это эссе в лучшем смысле слова – точное и умозрительное, метафизическое и глубоко личное, наполненное смыслами и голосами живых и мертвых, к чьим советам прислушивается автор, шагжок за шагком приближаясь к пустоте.

*Times Literary Supplement*

Мастерски выписанный, дающий немало пищи для ума мемуар – ну да ничего другого от Барнса и не ждали.

*The Independent on Sunday*

Безмерно увлекательная книга – и провокативная в лучшем смысле этого слова.

*O, The Oprah Magazine*

Семейная хроника, мутирующая в развернутое размышление о страхе смерти и этом великом утешителе – религиозной вере.

*Financial Times*

Блестящая библия элегантно отчаяния... самый важный на свете самоучитель – который вы не можете себе позволить не прочесть.

*Vogue*

Эту книгу можно уподобить глубокой подземной дрожи – она отдается у вас в голове и через недели после прочтения.

*The New York Times Book Review*

Здесь нет ни зауми, ни покровительственного похлопывания по плечу – остроумный меланхолик просто беседует с читателем о наиболее всеобщем из человеческих страхов.

*The Washington Post*

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

*Российская газета*

В своем поколении писателей Барнс однозначно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

*The Scotsman*



## Нечего бояться

*Посвящается П.*

Я не верю в Бога, но мне Его не хватает. Так я говорю, когда мне задают этот вопрос. Я спросил своего брата, преподававшего философию в Оксфорде, Женеве и Сорбонне, что он думает насчет подобного заявления, не раскрывая, что оно принадлежит мне. Тот ответил одним словом: «Жеманство».

Начать надо с бабушки по маме, Нелл Луизы Сколток, урожденной Машен. Она была учительницей в Шропшире, пока не вышла за моего дедушку, Берта Сколтока. Не Бертрама, не Альберта, просто Берта: так его крестили, так звали, так кремировали. Он был директором школы, особо расположенным ко всему механическому: владелец мотоцикла с коляской, затем «ланчестера», позже, уже на пенсии, водитель довольно помпезного спортивного родстера «триумф» со скамьей на троих спереди и двумя сиденьями сзади, когда верх опускался. Ко времени нашего знакомства бабушка с дедушкой переехали на юг страны, чтобы жить рядом со своим единственным ребенком. Бабушка записалась в Женский институт<sup>1</sup>; солила и закручивала консервы, ошипывала и жарила куриц и гусей, которых разводил дедушка. Она была миниатюрной, с виду мягкой и податливой, с распухшими к старости суставами; ей было не снять обручальное кольцо без мыла. Ее гардероб изобиловал домашними кардиганами, дедушка предпочитал более мужественную жгутовую вязку. Они регулярно ходили на педикюр и принадлежали к поколению, в котором по совету стоматологов вырывали все зубы сразу. Тогда придерживались такого ритуала: от зубовных скрежетов и шатаний к полной фарфоризации в один присест, с последующими оползнями и клецаньем во рту, публичными конфузами и пенным стаканом на тумбочке.

Переход от зубов к вставным челюстям поразил меня с братом и своей серьезностью, и своей непристойностью. Но в жизни моей бабушки случилась и другая огромная перемена, которую при ней никогда не упоминали. Нелл Луиза Машен, дочь рабочего с химзавода, воспитывалась методисткой, в то время как Сколтоки были англиканцами. В какой-то момент в молодости бабушка неожиданно утратила веру и, как лакируют действительность семейные предания, обрела замену: социализм. Я понятия не имею, насколько силен был когда-то ее религиозный пыл и каковы были политические пристрастия ее родителей; все, что я знаю, это что однажды она выставила свою кандидатуру на местных выборах как социалист и потерпела поражение. Ко времени нашего знакомства в 1950-е она выросла в коммунистку. Она, должно быть, одной из немногих пенсионеров в пригородном Букингемшире покупала «Дейли уоркер» и – как мы с братом доказывали друг другу – ловчила с семейным бюджетом, чтобы слать пожертвования в газетный «фонд борьбы».

В конце 1950-х случился Советско-Китайский Раскол и коммунисты по всему свету обязаны были выбирать между Москвой и Пекином. Для большинства преданных европейцев выбор был нетруден, как и для газеты «Дейли уоркер», получавшей финансирование вместе с директивами из Москвы. Бабушка, которая никогда не бывала за границей и жила себе в мещанской одноэтажной Англии, по неизвестным причинам решила связать свою судьбу с китайцами. Я приветствовал ее таинственное решение из явной личной выгоды, поскольку вместо «Уоркера» она теперь выписывала «Китай строится» – еретический журнал, приходивший прямиком с далекого континента. Бабушка откладывала для меня марки с коричневатых конвертов. На них обычно воспевались промышленные достижения: мосты, гидроэлектростан-

---

<sup>1</sup> Общенациональный женский клуб по интересам: домоводство, драмкружки, спорт, социальные программы. (Здесь и далее примеч. перев.)

ции, грузовики, сходящие с конвейеров, – или же разнообразные голуби, летящие символизировать мир.

Мой брат не претендовал на такие подношения, поскольку за несколько лет до этого в нашем доме произошел Филателистский Раскол. Джонатан решил специализироваться на Британской Империи. Я же, дабы подчеркнуть свое отличие, объявил, что буду коллекционировать категорию, которую я назвал, как мне тогда казалось, логично, Весь Остальной Мир. Определялась эта категория только тем, что *не* собирал мой брат. Я не помню, было это решение наступательным, оборонительным или просто прагматичным. Знаю только, что оно иногда приводило к поразительным репликам в школьном филателистском клубе среди коллекционеров, еще недавно ходивших под стол пешком: «Барнси, так а что ты собираешь?» – «Весь Остальной Мир».

Мой дедушка был любителем геля для волос, и салфетка на его паркер-нолловском кресле – с высокой спинкой и боковинами, чтобы прикорнуть, – лежала там не только для красоты. Он поседел раньше бабушки; у него были по-военному подстриженные усы, курительная трубка с металлическим черенком и кисет, который оттягивал ему карман кардигана. Также он носил неуклюжий слуховой аппарат, еще один атрибут мира взрослых – или, скорее, мира на дальнем краю взрослости, – над которым любили издеваться мы с братом. «Прошу прощения?» – орали мы друг другу, прикладывая руку к уху и надрываясь со смеху. Мы оба с нетерпением ждали бесценных моментов, когда бабушкин живот урчал настолько громко, что пробуждал дедушку из глухоты с вопросом: «Телефон, да?» После короткого сконфуженного мычания они возвращались к своим газетам. Дедушка в мужском кресле, посвистывая слуховым аппаратом и посасывая пытящую трубку, качал головой над «Дейли экспресс», которая описывала ему мир, где истина и справедливость постоянно подвергались Коммунистической Угрозе. А бабушка, в красном углу, в женском кресле цокала языком над «Дейли уоркер», которая описывала ей мир, где истина и справедливость в их усовершенствованных версиях постоянно подвергались угрозе со стороны Капитализма и Империализма.

Дедушка к тому времени уже сократил свою религиозную обрядовость до просмотра «Псалмов» по телевизору. Он столярничал и работал в саду, он сам выращивал табак и высушивал его в своем гараже, где также хранил клубни георгинов и подшивки «Дейли экспресс», стянутые ворсистыми бечевками. Он держал в любимчиках моего брата, учил его точить стамеску и оставил в наследство плотницкий набор. Я не помню, чтоб он чему-нибудь меня учил (или что-то мне завещал), хотя однажды мне позволили наблюдать за тем, как он в сарае убивает курицу. Дед взял птицу под мышку, успокоил поглаживаниями, затем положил ее шею на зеленый металлический аппарат, привинченный к дверному косяку. Опуская рукоять, он стиснул куриное тельце еще крепче, чтобы погасить финальные конвульсии.

Моему брату разрешалось не только смотреть, но и участвовать. Несколько раз ему довелось тянуть рычаг, в то время как дедушка держал курицу. Однако наши воспоминания о бойне в сарае расходятся до несовместимости. По мне, этот аппарат всего лишь крутил птице шею, для него это была маленькая гильотина. «Я четко вижу корзинку под лезвием. Я (менее четко) вижу, как туда падает голова, капает (немного) крови, дедушка ставит безголовую курицу на землю, она еще бежит несколько секунд...» Это моя память подверглась очистке или его заражена фильмами про Французскую революцию? В любом случае дедушка познакомил моего брата со смертью и ее неприглядностью лучше, чем меня. «Ты помнишь, как дедушка забивал гусей перед Рождеством?» (Не помню.) «Он преследовал выбранного им гуся по загону, размахивая ломом. А когда достигал ловким ударом, то, чтоб уже наверняка, он клал птицу на землю, придавливал гусиную шею ломом и дергал голову».

Мой брат помнит ритуал – я не видел такого ни разу, – который он называл Чтением Дневников. Бабушка и дедушка вели дневники по отдельности и вечерами порой развлекались, зачитывая друг другу то, что внесли туда на той же неделе несколько лет назад. Записи, несо-



мненно, отличались известной банальностью, но часто приводили к разногласиям. Дедушка: «Пятница. Работал в саду. Сажал картошку». Бабушка: «Чушь. Весь день шел дождь. В саду мокро – работать невозможно».

Мой брат также помнит, как однажды, когда был совсем маленький, повывернул весь лук в дедушкином саду. Дедушка отлупил его до истошного рева, затем непривычно побелел, признался во всем нашей маме и поклялся никогда больше не поднимать руку на ребенка. Вообще-то, мой брат ничего из этого не помнит – ни лука, ни головной боли. Ему эту историю постоянно рассказывала мама. Более того, если бы он ее помнил, ему бы стоило быть осмотрительней. Как философ он считает, что воспоминания лживы «настолько, что по картезианскому принципу гнилого яблока ничему нельзя верить без подтверждения со стороны». Я более доверчив или склонен к самообману, так что продолжу, как будто мои воспоминания верны.

Нашу маму при крещении называли Кэтрин Мейбл. Она ненавидела Мейбл и жаловалась дедушке, который объяснял, что «когда-то знал одну очень милую девушку по имени Мейбл». Я не имею малейшего представления о росте или упадке ее религиозных верований, хотя мне перешел ее молитвенник, переплетенный вместе с «Гимнами древними и современными» в мягкой коричневой замше, каждый том подписан на удивление зелеными чернилами и с датой «Dec: 25<sup>th</sup>. 1932.»<sup>2</sup>. Я восхищаюсь ее пунктуацией: две точки и двоеточие, а точка под «th» расположена ровно посередине между буквами. Теперь такой пунктуации уже не встретишь.

В моем детстве под запретом были три традиционные темы: религия, политика и секс. Когда мы с мамой начали их обсуждать – то есть первые две, третья перманентно отсутствовала в нашей повестке, – политически она оказалась закоренелым консерватором, каким, полагаю, всегда и была. Что касается религии, она мне твердо заявила, что не хочет на своих похоронах «никакой тарабарщины». Когда сотрудник похоронного бюро спросил, не хочу ли я убрать «религиозные символы» со стены крематория, я ответил ему, что она бы этого хотела.

Такое условное наклонение, между прочим, вызывает серьезные подозрения моего брата. В ожидании начала похорон мы не то что заспорили – это бы нарушило семейную традицию, – но обменялись репликами, из которых было видно, что если по своим стандартам я и рационалист, то по его – довольно хилый. Когда мама сначала обездвижела от удара, она с радостью согласилась передать в пользование внучке К. свой автомобиль, последний из длинной череды «рено» – марки, которой она была франкофильски верна на протяжении почти полувека. Стоя с братом на парковке крематория, я искал глазами знакомый французский силуэт, как вдруг увидел, что моя племянница въезжает за рулем машины своего бойфренда Р. Я заметил – уверен, что мягко: «Думаю, мама бы захотела, чтобы К. приехала на *ее* машине». Мой брат так же мягко и логично опроверг меня. Он подчеркнул, что есть желания покойных, то есть какие-то вещи, которые некогда хотели теперь уже мертвые, и есть гипотетические желания, то есть вещи, которые они захотели бы или могли бы хотеть. «Что захотела бы мама» – комбинация последних двух: гипотетическое желание покойной, то есть вдвойне сомнительное. «Мы можем делать только то, чего хотим *сами*», – объяснил он; потрафлять маминым гипотетическим желаниям так же иррационально, как если бы он обращал внимание на собственные прошлые желания. Я предложил в ответ, что мы должны пытаться делать то, что она бы хотела: а) поскольку должны же мы делать *что-то*, и это что-то (если мы не оставили ее тело просто гнить в глубине сада) подразумевает выбор, и б) поскольку мы надеемся, что, когда мы умрем, другие сделают то, чего в свою очередь хотели бы мы.

Я редко вижу с братом и потому часто поражаюсь тому, как устроен его мозг, но он говорит совершенно искренне. Пока я вез его в Лондон с похорон, у нас случился еще более

<sup>2</sup> 25 декабря 1932 г.

странный – для меня – разговор про мою племянницу и ее бойфренда. Они довольно долго встречались, потом временно разошлись, и К. закрутила с другим. Брату и его жене этот новенький сразу же не понравился, и моя невестка, как следует, целых десять минут ему «выговаривала». Как она ему выговаривала, я не стал спрашивать. Вместо этого я спросил: «Но ты же одобряешь Р.?»

«Одобряю я Р. или нет – абсолютно не важно», – ответил брат.

«Конечно же важно. К., возможно, хотела бы, чтобы ты его одобрял».

«Напротив, возможно, она хотела бы, чтобы я его *не* одобрял».

«Но в любом случае нельзя сказать, что для *нее* не важно, одобряешь ты его или нет».

Он задумался на секунду. «Ты прав».

Из этого разговора, пожалуй, видно, что он старший брат.

Моя мама не высказывалась относительно музыки, которую она хочет на свои похороны. Я выбрал первую часть фортепианной сонаты Моцарта ми-бемоль мажор, KV 282 – одной из тех пьес, что долго и величаво сворачиваются и разворачиваются, оставаясь торжественными даже в оживленных фрагментах. Казалось, она длится минут пятнадцать вместо заявленных на обложке семи, и я даже начал подозревать, что заиграла еще одна моцартовская вещь или крематорский CD-проигрыватель перескочил на начало. За год до этого я выступал в передаче «Диски необитаемого острова», где из Моцарта выбрал «Реквием». После передачи мама позвонила и поставила мне на вид, что я назвал себя агностиком. Она сказала, что так же называл себя папа – в то время как она была атеисткой. Звучало это так, будто агностицизм был размытой либеральной позицией, в отличие от истинной, как невидимая рука рынка, реальности атеизма. «И что это за разговоры о смерти, кстати?» – продолжила она. Я объяснил, что мне не нравится сама идея. «Ты прямо как твой отец, – ответила она. – Может, дело в возрасте. Доживешь до моих лет, так волноваться уже не будешь. Лучшее в жизни я уже повидала. И вспомни Средние века – тогда продолжительность жизни была действительно низкой. А теперь мы живем семьдесят, восемьдесят, девяносто лет... Люди верят в религию только из-за страха смерти». Это было типичное для моей мамы заявление: четкое, пристрастное, явно нетерпимое к возражениям. Ее семейное главенство и уверенность в вопросах мироздания удобно все проясняли, когда я был ребенком, ограничивали в юности и нестерпимо утомляли в моей взрослой жизни.

После ее кремации я забрал диск Моцарта у «органиста», который, я вдруг подумал, теперь получает полное жалованье за то, что ставит запись с компакт-диска. С отцом прощались за пять лет до этого в другой крематории, где настоящий органист честно отработывал свой гонорар Бахом. Отец бы «этого хотел»? Думаю, он был бы не против; он был мягким человеком либеральных взглядов, не слишком интересовавшимся музыкой. В этом вопросе, как и в большинстве случаев, он – не без многочисленных тихо-ироничных ремарок – положился на мнение своей жены. Его гардероб, дом, в котором они жили, их машина – все решения были ее. В пору непримиримой юности я осуждал его как слабака. Позже я считал его конформистом. Еще позже – человеком автономным в своих взглядах, но не желающим разводить споры.

Первый раз, когда я попал в церковь со своей семьей – на свадьбу родственника, – я был поражен, когда папа рухнул на колени перед скамьей, закрыв ладонью глаза и лоб. *Это-то* откуда, спросил я себя, перед тем как вполсилы симитировать жестами благочестие, незаметно скрестив пальцы.

Это был один из тех моментов, когда вы удивляетесь родителям – не потому, что узнали о них что-то новое, но поскольку открыли для себя новую территорию собственного невежества. Проявлял ли отец таким образом учтивость? Думал ли он, что, если просто плюхнется на свое место, его примут за атеиста в духе Шелли? Понятия не имею.

Он умер современной смертью: в больнице, без семьи, разделив последние минуты с сиделкой, месяцы, даже годы спустя после того, как медицина научилась продлевать жизнь до состояния, когда условия, на которых ее предлагали, уже особенно не вдохновляли. Мама виделась с ним за несколько дней до этого, но затем слегла с опоясывающим лишаем. В последний ее визит он был очень растерян. Она характерным образом спросила его: «Ты знаешь, кто я? Потому что в последний раз, когда я приходила, ты не понимал, *кто я такая*». Отец так же характерно ответил: «Я думаю, что ты моя жена».

Я отвез маму в больницу, где нам выдали черный пластиковый пакет и кремовую сумку. Она быстро разобралась с обеими, точно зная, что она хотела забрать, а что оставить в больнице. Как плохо, сказала она, что он так и не поносил большие коричневые тапки на липучке, которые она ему купила месяц назад; незаметно от меня она унесла их домой. Она пришла в ужас, когда ей предложили взглянуть на папино тело. Она рассказала мне, что, когда дедушка умер, бабушка была «бесполезна» и маме пришлось заниматься всем. И только в больнице возобладал какой-то атавистический или родственный инстинкт, и бабушка настояла, чтоб ей показали тело мужа. Мама пыталась разубедить ее, но та и слушать ничего не желала. Их отвели в демонстрационную морга и предъявили дедушкин труп. Бабушка повернулась к маме: «Отвратительно выглядит, правда?»

Когда мама умерла, похоронный распорядитель из соседней деревни спросил, хотят ли родные видеть тело. Я сказал «да», мой брат – «нет». На самом деле его ответ – когда я позвонил с этим вопросом – был: «Господи, конечно же нет. Здесь я соглашусь с Платоном». У меня в голове не было текста, на который он ссылался. «А что говорил Платон?» – спросил я. «Что он не верит в мертвые тела». Когда я пришел один в похоронную контору, которая располагалась в дальнем конце помещения местной грузовой компании, директор сказал извиняющимся тоном: «Боюсь, она сейчас в задней комнате». Я посмотрел на него вопросительно, и он объяснил: «Она на тележке». Я, не раздумывая, ответил: «Ну что вы, она и не настаивала на церемониях», хотя едва ли мог точно угадать, чего бы она хотела или не хотела в подобных обстоятельствах.

Она лежала в маленькой светлой комнате с распятием на стене; когда я вошел, она действительно была на тележке, затылком ко мне, избегая таким образом встречи лицом к лицу. Она казалась ну очень мертвой: закрытые глаза, приоткрытый рот, больше слева, чем справа, как это было в ее духе – она частенько держала сигарету в правом уголке рта, а разговаривала противоположным, пока столбик пепла не приобретал угрожающие размеры. Я попытался представить себе, что же она понимала, насколько это возможно, в момент угасания. Это случилось через несколько недель после того, как ее перевели из больницы в дом престарелых. К тому времени она уже положительно сошла с ума, ее сумасшествие было разных видов: в одном она продолжала считать себя главной, постоянно попрекая сиделок за воображаемые провинности, в другом, признавая полную утрату влияния, она снова была ребенком, все ее мертвые родственники – живыми, а то, что только что сказали ее мама или бабушка, – крайне важным. Перед ее сумасшествием я часто выключался во время ее солипсических монологов; теперь она неожиданно стала болезненно интересной. Я не устал удивляться, откуда же все это берется и каким образом мозг производит эту поддельную реальность. И у меня уже не было никаких сожалений, что она желала разговаривать только о себе.

Мне сказали, что в момент смерти рядом с ней были две сиделки, которые затем перевернули ее, как только она «отошла». Мне хочется думать – потому что для нее это было характерно, а люди должны умирать так же, как жили, – что ее последняя мысль была адресована себе самой и была чем-то типа «Ну давай уже». Но это сентиментальность – то, что она бы, возможно, хотела (или, скорее, то, что я бы хотел для нее), и, может быть, если она вообще что-то думала, то представляла себя снова маленькой девочкой, которую переворачивают в горячей постели пара давно умерших родственников.

В похоронном бюро я несколько раз дотронулся до ее щеки, затем поцеловал в волосы. Она была такой холодной, потому что выехала из морозильника или потому что все покойники естественным образом холодные? И нет, она не выглядела отвратительно. С макияжем не переборщили, и ей было бы приятно знать, что волосы элегантно уложены. («Разумеется, я никогда их не красила, – однажды хвасталась она невестке. – Это мой природный цвет».) Желание увидеть ее мертвой происходило, признаюсь, скорее из писательского любопытства, нежели из сыновних чувств; но пора было и попрощаться, несмотря на все мое долгое раздражение, с ней связанное. «Молодец, мама», – сказал я тихо. Она действительно разобралась с «умиранием» лучше, чем отец. Он перенес серию ударов, его уход растянулся на несколько лет; она проделала путь от первого криза до смерти эффективнее и быстрее. Когда я забирал пакет с ее одеждой из социального дома (что раньше всегда вызывало у меня вопрос, как же должен выглядеть дом «асоциальный»), он оказался тяжелее, чем я ожидал. Сначала я обнаружил там непочатую бутылку шерри, а затем, в квадратной картонке, нетронутый торт, купленный деревенскими друзьями, которые приходили к ней на ее последний, восемьдесят второй день рождения.

Отец умер в таком же возрасте. Я всегда представлял себе, что его смерть будет тяжелее для меня, потому что я любил его сильнее, в то время как к матери мог в лучшем случае испытывать симпатию с изрядной долей раздражения. Оказалось все наоборот: то, что я ожидал как более легкую смерть, оказалось сложнее и опаснее. Его смерть была просто его смертью, ее смерть была смертью их обоих. И последовавшая уборка в доме превратилась в эксгумацию семьи, которой мы когда-то были, – не то чтобы мы и вправду были семьей после первых тринадцати-четырнадцати лет моей жизни. Теперь, впервые в жизни, я изучил содержимое маминной сумочки. Кроме обычных вещей, там хранились вырезка из газеты «Гардиан» со списком величайших английских крикетистов после Второй мировой (хотя она никогда не читала «Гардиан») и фотография пса Макса из нашего детства, золотистого ретривера. На обороте незнакомой рукой было выведено «Maxim, le chien»<sup>3</sup> – наверное, снимок был сделан или, по крайней мере, подписан в начале 1950-х П., одним из французских *assistants* моего отца.

П. был родом с Корсики, беззаботный парень с привычкой, которая казалась моим родителям типично галльской, просаживать месячную получку за день. Он приехал к нам на несколько дней, пока не найдет жилье, и в результате остался на целый год. Мой брат, зайдя однажды утром в ванную, обнаружил перед зеркалом для бритья незнакомое мужчину. «Если уйдешь, – сообщило ему лицо в мыльной пене, – я расскажу тебе историю про мистера Бизи-Визи». Мой брат ушел, и П., как выяснилось, знал массу приключений, выпавших на долю мистера Бизи-Визи, ни одно из которых я не помню. Также в нем была артистическая жилка: он сооружал железнодорожные станции из коробок от хлопьев, а однажды преподнес моим родителям – возможно, вместо арендной платы – два написанных им пейзажика. Все детство они висели у нас на стене и поражали меня невообразимым мастерством, но тогда все отдаленно похожее вызывало такой же эффект.

Что до Макса, то он либо сбежал, либо – поскольку мы не могли себе представить, что он желал добровольно покинуть нас, – его похитили, вскоре после этой фотографии, однако, куда бы он ни отправился, он и сам, наверное, уже лет сорок как умер. Папа был бы «за», но мама так и не завела собаку.

Учитывая историю моей семьи, где истощенная вера соседствовала с бодрым неверием, я мог бы, из подросткового непослушания, удариться в благочестие. Но ни агностицизм отца, ни атеизм матери не были явно выражены и тем более не ставились мне в пример, так что, возможно, они не оправдывали бунта. Полагаю, я мог бы, представься такая возможность, стать

<sup>3</sup> Пес Максим (фр.).

иудеем. В школе, где я учился, из 900 мальчиков где-то 150 были евреями. В целом они казались более развитыми в общении и сведущими в вопросах моды: обувь у них была получше – один мой ровесник даже щеголял в полусапожках с резинками по бокам, – и они кое-что знали про девушек. Еще у них были дополнительные праздники – очевидное преимущество. К тому же это обязательно шокировало бы моих родителей, склонных к легкому антисемитизму, свойственному их возрасту и классу. (Когда в конце какой-нибудь телевизионной постановки в титрах появлялась фамилия вроде Аарансон, один из них мог заметить с кривой усмешкой: «Еще один валлиец».) Но это не означало, что они вели себя как-то иначе с моими еврейскими друзьями, одного из которых, как казалось, по заслугам, звали Алекс Бриллиант<sup>4</sup>. Сын табачного киоскера, он уже в шестнадцать читал Витгенштейна и писал стихи, пульсировавшие двойными, тройными, четверными – как коронарные шунтирования – смыслами. Он лучше меня успевал по английскому и получил стипендию в Кембридже, после чего я потерял его из виду. Многие годы я периодически воображал себе его неперенный успех в гуманитарной области. Уже после пятидесяти я узнал, что биография, которую я ему придумывал, была пустой фантазией. Алекс наложил на себя руки из-за женщины – наглотававшись таблеток, когда ему было под тридцать, половину моей жизни назад.

Так что во мне не было веры, чтобы ее потерять, я лишь сопротивлялся, на самом деле менее героическим образом, чем мне тогда казалось, мягкому режиму богопочитания, установленному в английском образовании: уроки Писания, утренние молитвы и гимны, ежегодная благодарственная служба в соборе Святого Павла. Вот и все, кроме роли Второго Пастуха в вертепе, которую мне доверили в начальной школе. Меня не крестили и не отправили в воскресную школу. Я в жизни ни разу не присутствовал на обычной церковной службе. Я хожу на крещения, венчания, панихиды. Я постоянно захожу в церковь, но из архитектурных соображений и в более широком смысле – чтобы понять, какой когда-то была английская жизнь.

Литургический опыт моего брата незначительно больше моего. Будучи скаутом-«волчонком», он сходил на несколько обычных церковных служб. «Я припоминаю, что был поражен, я чувствовал себя антропологом среди антропофагов». Когда я спросил его, как он потерял веру, брат ответил: «Я никогда ее не терял, потому что у меня ее не было. Но я понял, что все это чепуха, седьмого февраля пятьдесят второго года в девять утра. Мистер Эббетс, директор Дервентуотерской начальной школы, объявил нам, что король умер, что он вознесся на небо, к вечной славе и счастьем с Господом, и вследствие этого мы все будем носить черные повязки в течение месяца. Я подумал, что здесь что-то нечисто и Как Же Я Был Прав. С моих глаз не слетела никакая пелена, не было никакого чувства утраты, ничто не оборвалось и так далее. Я надеюсь, – добавляет он, – что так оно и было. Воспоминание у меня очень ясное и устойчивое, но ты же знаешь, что такое память».

Когда умер Георг VI, моему брату только исполнилось девять (мне было шесть, я ходил в ту же школу, но я ничего не помню ни про речь мистера Эббетса, ни про черные повязки). Мое прощание с остатками, с возможностью религии случилось в более позднем возрасте. Подростком, скрючившись над какой-нибудь книжкой или журналом в ванной комнате, я все время говорил себе, что Бог никак не может существовать, поскольку сама идея, что он может следить за тем, как я мастурбирую, была абсурдной; еще более абсурдной казалась возможность, что все мои покойные предки выстроились рядком и тоже следят за мной. У меня имелись и другие, более рациональные аргументы, но окончательно расправилось с Ним именно это убедительное ощущение – небескорыстным образом, разумеется. От мысли, что бабушка и дедушка наблюдают за тем, что я собираюсь предпринять, у меня и вправду могли опуститься руки.

Вспоминая это теперь, я задаюсь вопросом, почему же я не предполагал другие сценарии. Почему я считал, что Бог, если он действительно следил за мной, обязательно осуждал

<sup>4</sup> Brilliant (англ.) – блестящий.

то, как я проливаю семя свое? Почему мне не приходило в голову, что если небеса не обрушились от вида того, как я истово изнуряю себя, то, вероятно, оттого, что небеса не считали это грехом? Равно как мне не хватало воображения представить себе, что мои покойные предки также с улыбкой смотрели на то, что я творю: жми, сынок, получай удовольствие, пока можешь, ничего такого уже не будет, когда ты станешь бестелесным духом, так что давай еще разок за нас. А дедушка, возможно, вынимал изо рта свою небесную трубку и заговорщически шептал: «Когда-то я знал одну очень милую девушку по имени Мейбл».

В начальной школе у нас проверяли голоса. По одному мы выходили перед классом и пытались пропеть несложный мотив под аккомпанемент учителя. Затем нас определяли в одну из двух групп: Высокие Голоса или Низкие Голоса (музыкальный аналог Всего Остального Мира). Эти ярлыки были добрыми эвфемизмами, поскольку до ломки голоса оставалось еще много лет; и я помню снисходительную реакцию родителей, когда я сообщил им, как будто это было достижение, в какую группу определили меня. Мой брат тоже был Низким Голосом; хотя его ждало гораздо большее унижение. В следующей школе у нас опять проверяли голоса, после чего нас разделил – напоминает мне брат – на группы А, В и С «омерзительный тип по фамилии Уолш или Уэлш». Отчего мой брат так враждебно настроен полвека спустя? «Он создал группу D специально для меня. У меня ушло несколько лет, чтобы перестать ненавидеть музыку».

В этой школе музыку нам давали каждое утро в связке с громыхающим органом и бессмысленными гимнами. «Далёко холм зеленый есть / За городской стеной,/ Господь наш добрый там распят / За нас за всех с тобой». Мотив был не хуже остальных, но кому бы пришло в голову строить городскую стену вокруг зеленого холма? Позже, когда я понял, что «за» означало «снаружи», я переключил свое недоумение на «зеленый». Холм *зеленый*? В Палестине? Теперь, когда мы уже носили длинные штаны, мы не особенно усердствовали в географии (те, кто поумней, на нее не ходили), но даже я знал, что в Палестине только песок да камни. Я не чувствовал себя антропологом среди антропофагов – я тогда относил себя к скептикам, – но я точно ощущал дистанцию между знакомыми словами и значениями, которые им придавали.

Раз в год, на дне вручения наград лорд-мэром, мы пели «Иерусалим», переделанный в школьную песню. Особо шумные мальчики – шайка неисправимых Низких Голосов – в определенный момент всякий раз переходили на нигде не помеченное и неодобряемое фортиссимо: «Где стрелы страсти (*короткая пауза*) ДЛЯ МЕНЯ-А-А». Знал ли я, что слова написал Блейк? Сомневаюсь. Так же как никто не пытался привлекать нас к религии красотой ее языка (вероятно, это считалось самоочевидным). У нас был пожилой преподаватель латыни, любивший отклоняться от текста в то, что выдавалось за плоды задумчивости, но являлось, как я сейчас понимаю, домашними заготовками. Он казался чопорным клириком, но мог вдруг пробормотать, как будто это только что пришло ему в голову, что-нибудь вроде: «Она была всего лишь дочерью араба, но вы бы видели, какой крохотный сектор Газа» – шутка слишком рискованная, чтобы пересказывать ее моим родителям-учителям. В другой раз он источал язвительность по поводу абсурдного названия книги «Библия как литература». Мы вежливо посмеивались вместе с ним, но с противоположных позиций: Библия (скучная), разумеется, *не может* читаться как литература (интересная), QED<sup>5</sup>.

Среди нас, номинальных христиан, было несколько по-настоящему благочестивых мальчиков, но всем они казались немного странными и были такой же редкостью – и странностью, – как наш учитель, носивший обручальное кольцо и легко красневший (он был так же благочестив). В юности у меня однажды, а может, дважды случился трансцендентальный опыт: ощущение, как будто я под потолком и оттуда разглядываю свою духооставленную плоть. Я рассказал об этом школьному товарищу, обладателю сапожек с резиновыми вставками, – но не

<sup>5</sup> Что и требовалось доказать (*лат.*).

родным; и хотя я находил в происшедшем основания для некоторой гордости (что-то со мной происходит!), я не вынес из этого опыта ничего значительного, ни тем более религиозного.

Скорее всего, именно Алекс Бриллиант сообщил нам новость от Ницше, что Бог официально умер, а значит, мы можем дрочить еще пуше. Ты сам создаешь свою жизнь, не так ли, – в этом же вся суть экзистенциализма. А наш равнодушный молодой учитель английского, судя по всему, был антирелигиозен. По крайней мере, он цитировал нам строки Блейка, звучавшие полной противоположностью «Иерусалиму»: «Ибо Не Породивший Сына Отец / Рыгнул и раскашлялся под конец»<sup>6</sup>. Бог рыгал! Бог кашлял! Вот доказательство, что Его нет! (Опять же мне так и не пришло в голову, что эти человеческие черты подтверждают Его существование и даже вызывают сочувствие к Всевышнему.) Вдобавок он привел нам Элиотово безрадостное резюме человеческой жизни: рождение, соитие и смерть. Позже, на половине своего естественного срока, наш учитель английского, так же как Алекс Бриллиант, покончил с собой. Смешав снотворное с виски, они с женой совершили двойное самоубийство.

Я поступил в Оксфорд. Меня попросили зайти к капеллану колледжа, который объяснил, что как стипендиат я имею право читать Библию с амвона. Только что освободившись от навязанного религиозного лицемерия, я ответил: «Боюсь, что я счастливый атеист». Не произошло ровным счетом ничего – гром не раздался с небес, у меня не отобрали мантию стипендиата, никто и бровью не повел; я допил шерри и ушел. Дня через два капитан университетской команды постучался ко мне в комнату и спросил, не хочу ли я попробовать себя в гребле. Я ответил – после противостояния с капелланом уже, вероятно, смелее: «Боюсь, что я эстет». Теперь мне неловко за тот ответ (и жаль, что я не занимался греблей), но опять-таки ничего не случилось. Крепкие парни не вломились ко мне крушить голубой фарфор, которого у меня и не было, или макать мою начитанную голову в унитаз. Я был готов заявить свою позицию, но стеснялся защищать ее в споре. Будь я более разговорчивым – или бестактным, – я бы мог объяснить и клирику, и гребцу, что атеизм и эстетизм идут рука об руку, так же как в их случае – мышечная сила и христианство. (Хотя спорт мог бы предложить хорошую аналогию: разве Камю не говорил, что подходящая реакция на бессмысленность жизни – придумать правила игры, как в футболе?) Я бы мог продолжить – в воображаемой контраргументации – строчками Готье: «*Les Dieux eux-mêmes meurent. / Mais les vers souverains / Demeurent / Plus forts que les aïrains*» («Даже боги умирают, но Поэзия крепче бронзы и переживет все»). Я бы мог объяснить, как религиозное восхищение давно уже уступило место восхищению эстетическому, и, вполне возможно, в завершение соскабрезничал бы, что святая Тереза в известной экстатической скульптуре, по всем признакам, не зрит Бога, а получает какие-то гораздо более телесные наслаждения. Когда я заявил, что я счастливый атеист, прилагательное следовало относить только к существительному, и не более того. Я был счастлив не верить в Бога; я был рад, что в плане учебы пока хорошо успеваю, но этим, пожалуй, все и ограничивалось. Меня снедали тревоги, которые я пытался скрывать. Будучи интеллектуально способным (хотя я подозревал, что всего лишь наострилсся сдавать экзамены), я оставался социально, эмоционально и сексуально незрелым. И если я был рад освободиться от Не Породившего Сына Отца, последствия не приводили меня в восторг. Нет Бога, нет небес, нет загробной жизни: теперь смерть, пусть и отдаленная, смотрелась уже совсем в другой перспективе.

Студентом университета я провел год во Франции, где преподавал в католической школе в Бретани. Священники, среди которых я жил, поразили меня совершенно мирским разнообразием человеческих типов. Один держал пчел, другой был друидом; один играл на скачках, другой был антисемитом; молодой беседовал с учениками о мастурбации, старый пристрастился к телефильмам, даром что потом высокомерно отмахивался от них: «Ни уму ни

<sup>6</sup> Перевод В. Топорова.



сердцу». Были священники умные и искушенные, были глупые и доверчивые; одни были явно набожны, другие в своем скептицизме доходили до богохульства. Я помню, как все были потрясены, когда за столом в трапезной ехидный отец Маре начал подшучивать над другом друидов отцом Кальваром, выпрашивая, у кого из них в родной деревне Святой Дух, сходявший на Троицу, был лучшего качества. Здесь я впервые увидел труп – отца Русселя, молодого священника, преподавателя Закона Божьего. Его тело поместили в вестибюле, прямо у главного входа в школу: мальчикам и персоналу следовало подходить к нему попрощаться. Я только лишь бросил взгляд через стекло двойных дверей, убеждая себя, что поступаю так из чувства такта; хотя, по всей вероятности, причиной был страх.

Священники обращались со мной благожелательно, порой дразня, порой не понимая. «Ага, – говорили они, останавливая меня в коридоре, взяв за локоток и смущенно улыбаясь, – *la perfide Albion*»<sup>7</sup>. Среди них был некий отец Юбер де Гоэсбриан, добрый малый, хоть и не семи пядей во лбу, который свое роскошное имя бретонского аристократа не иначе как выиграл в лотерею, настолько мало оно ему соответствовало. Слегка за пятьдесят, полный и неповоротливый, он был лыс и глух. Для него не находилось пушей радости, чем задирать за трапезой тишайшего секретаря школы месье Ломера: засунуть ему украдкой в карман столовые приборы, пустить сигаретный дым в лицо, пощекотать шею или неожиданно пихнуть горчицу прямо под нос. Секретарь школы реагировал на эти утомительные каждодневные провокации с поистине христианским смирением. Поначалу отец Гоэсбриан норовил, проходя мимо, всякий раз и меня ткнуть в бок или дернуть за волосы, пока я радостно не послал его куда подальше, и он это делать прекратил. На войне его ранили в левую ягодицу («Юбер отступал!» – «Нет, мы попали в окружение»), поэтому он ездил со скидкой и выписывал журнал для *Anciens Combattants*<sup>8</sup>. Относительно его остальные священники снисходительно качали головой. «*Pauvre Hubert*»<sup>9</sup>, – чаще всего раздавалось в трапезной, скомканной ремаркой в сторону или криком прямо ему в лицо.

Отец Гоэсбриан только что отметил четверть века священнослужения и в вопросах веры был по-солдатски прямолинеен. Он поразился, когда, случайно услышав наш разговор с отцом Маре, обнаружил, что я не крещен. *Pauvre Hubert* тут же озабочился моей судьбой и ввел меня в курс суровых теологических последствий: без крещения мне никак не обрести Царствие Небесное. Возможно, мое положение изгоя позволяло ему иногда признаваться мне, насколько жизнь священнослужителя полна лишений и разочарований. Однажды он с опаской доверился: «Неужели ты думаешь, что я бы прошел через все это, если бы в конце не было рая?»

Тогда я был равно восхищен подобной практичностью и потрясен, как жизнь бывает истрачена в пустых надеждах. Но у расчетов отца Гоэсбриана имелась славная предыстория, и я мог бы узнать в них рабочую версию знаменитого пари Паскаля, которое звучит довольно просто. Если вы верите и оказывается, что Бог есть, вы выиграли. Если вы верите, а оказывается, что Бога нет, вы проиграли, но и вполтину не так сокрушительно, как если бы вы решили не верить, а после смерти выяснилось бы, что Бог все-таки есть. Это, вероятно, не столько строгая аргументация, сколько своекорыстная стратегия выбора сторон, достойная французского дипкорпуса; хотя первое пари, относительно существования Бога, зависит от второго тут же заключаемого пари, относительно природы Господа. Что, если Бог не таков, как Его себе представляют? Что, если Он, например, осуждает азартных игроков, в особенности тех, чья подразумеваемая любовь к Нему – производная философии наперсточника? И кому решать, кто выиграл пари? Уж точно не нам: Бог вполне может предпочесть честного скептика лъстивому аферисту.

<sup>7</sup> Коварный Альбион (фр.).

<sup>8</sup> Старые вояки (фр.).

<sup>9</sup> «Бедняга Юбер» (фр.).

Пари Паскаля находит отклик уже несколько веков, и всегда появляются желающие его принять. Вот экстремальная, боевая версия. В июне 2006-го в киевском зоопарке некий гражданин слез по веревке в островной вольер с тиграми и львами. Пока длился спуск, он кричал в сторону изумленной толпы зевая. Один из очевидцев приводит его слова: «Кто в Бога верит, того львы не тронут», а затем – откровенно с подначкой: «Господь спасет меня, если Он есть». *Провокатор*-метафизик достиг земли, разулся и направился к животным, после чего раздраженная львица сбила его с ног и перекусила сонную артерию. Доказывает ли это, что: а) гражданин был сумасшедшим, б) Бога нет, в) Бог есть, но не явил себя, поскольку не ведется на такие дешевые уловки, г) Бог есть и только что продемонстрировал, какое у Него чувство юмора, д) все вышеперечисленное неверно.

А вот пари, специально сформулированное так, как будто оно не пари и вовсе: «Да веруй себе! Хуже-то от этого не будет». Эта слабая, как вчерашний чай, вариация, усталый шепот измученного метафизической мигренью, встречается в записках Витгенштейна. Будь вы Все-держителем, на вас бы вряд ли произвела впечатление такая вялая поддержка. Хотя иногда, наверное, «хуже от этого не будет», кроме того, что это ложь, кому-то может показаться хуже некуда.

Пример: лет за двадцать до того, как была сделана эта запись, Витгенштейн подвизался учителем в глухих деревнях Нижней Австрии. Местные почитали его за аскета и эксцентрика, хотя отмечали в нем привязанность к ученикам, а также его готовность, несмотря на собственные религиозные сомнения, начинать и заканчивать каждый учебный день молитвой «Отче наш». Учительствуя в Траттенбахе, Витгенштейн возил своих учеников на экскурсию в Вену. До ближайшей станции, Глоггница, было двенадцать миль, так что экскурсия началась с обучающей пешей прогулки по лесу, где детям было велено опознавать растения и камни, которые они проходили на уроках. Два дня в Вене ушли на то же, но теперь уже с образцами архитектуры и техники. Затем они отправились назад. Когда поезд прибыл в Глоггниц, уже сгущалась ночь. Надо было проделать двенадцать миль по лесу пешком. Витгенштейн, понимая, что многие дети напуганы, подходил к каждому из них по очереди и тихонько утешал: «Страшно? Тогда не думай ни о чем, кроме Бога». Вокруг был темный лес в прямом смысле слова. Да веруй себе! Хуже-то не будет. И хуже действительно не было. Несуществующий Бог, по крайней мере, хранит вас от несуществующих эльфов и леших, в отличие от существующих волков и медведей (а также львиц).

Исследователь Витгенштейна полагает, что философ не был «религиозен», но что в нем обреталась «в некоем смысле *возможность* веры», хотя его концепция имела меньшее отношение к вере в Создателя, нежели к представлениям о грехе и жажде справедливого воздаяния. Он считал, что «жизнь может научить вере в Бога» – одна из его последних записей. Он также воображал, как ему задают вопрос, будет ли он жить после смерти, а он говорит, что не может на него ответить; не по причинам, на которые могли бы сослаться мы с вами, а поскольку «у меня нет четкого представления о том, что я говорю, произнося „Я буду всегда“». Полагаю, мало у кого из нас оно есть, кроме фанатичных самоубийц, ожидающих за свою жертву весьма конкретного воздаяния. Хотя что это означает, а не что из этого следует, мы понять в состоянии.

Если я называл себя атеистом в двадцать и агностиком – в пятьдесят и шестьдесят, то не потому, что за прошедшее время приобрел новые знания, а просто лучше стал сознавать свое невежество. Откуда нам знать, что мы знаем достаточно? Мы, неodarвинисты и материалисты XXI века, убежденные, что смысл и механика человеческой жизни обрели ясные очертания только в 1859-м, категорически полагаем себя мудрее тех доверчивых прихожан, что совсем незначительное время назад верили в божественный умысел, мировую гармонию, Воскресение

и Страшный суд. Пусть мы лучше информированы, но в эволюционном смысле мы не лучше и точно не умнее их. Что же убеждает нас, что наше знание окончательно?

Моя мать сказала бы, и говорила, что дело в «возрасте», – как будто теперь, когда конец близок, мою решительность ослабляют метафизическая предусмотрительность и животный страх. Однако она была бы не права. Осознание неизбежности смерти пришло ко мне рано, лет в тринадцать или четырнадцать. Французский литературный критик Шарль дю Бос, друг и переводчик Эдит Уортон, придумал на этот счет удачный оборот: *le réveil mortel*. Как же лучше перевести? «Звонок будильника смерти» – немного из области гостиничного обслуживания. «Смерте-знание», «пробуждение к смерти» – слишком отдает немецкой философией. «Осознание смерти»? – но это предполагает скорее состояние, нежели точечный удар молнии. В каком-то смысле плохой (первый) перевод Дюбосова выражения подходит лучше всего: это действительно как будто вы в незнакомом гостиничном номере, где ваш предшественник оставил заведенный будильник, и в чудовищную рань вас вдруг выдирают из сна в утреннюю темень панический страх и жестокое осознание, что в этом мире вы всего лишь постоялец.

Мой друг Р. недавно спросил меня, как часто я думаю о смерти и при каких обстоятельствах. Как минимум каждый божий день, ответил я; еще периодически случаются ночные приступы. Мысли о смерти вторгаются в мое сознание, когда внешний мир представляет собой очевидную параллель: как только наступает вечер, когда дни становятся короче или после длительных прогулок по лесу. Возможно, несколько более оригинальным образом мой будильник часто орет в начале спортивных состязаний по телевизору, особенно почему-то во время турнира по регби – Кубка пяти (теперь шести) наций. Я рассказал это все Р., извинившись за, возможно, излишнее самолюбование и самокопание в этом вопросе. Он ответил: «Твои мысли о смерти НОРМАЛЬНЫЕ. Не извращенные, как у Г. <наш общий друг>. У меня оч. – оч. извращенные. Всегда были типа = ДАВАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС. Дуло-в-рот. Дела сильно пошли на поправку, с тех пор как констебли заявили ко мне и изъяли ружье двенадцатого калибра, потому что услышали мое выступление на „Дисках необитаемого острова“. Теперь у меня только пневматическое ружье <его сына>. Не подойдет. Так что ВСТРЕТИМ СТАРОСТЬ ВМЕСТЕ».

Раньше о смерти говорили гораздо охотней, не о смерти и загробной жизни, а о смерти и полном исчезновении. В 1920-е Сибелиус хаживал в хельсинкский ресторан «Камп», где присоединялся к «лимонному столу»: лимон – китайский символ смерти. За этим столом, собиравшим художников, промышленников, врачей и адвокатов, разговоры о смерти не только не возбранялись, но изначально подразумевались. В Париже за несколько десятилетий до этого группа писателей, в которую входили Флобер, Тургенев, Эдмон де Гонкур, Доде и Золя, собиралась в ресторане «Маньи», чтобы обсудить этот вопрос по порядку и в дружеской манере. Все они были атеистами или глубокими агностиками, страшившимися смерти, но не пытавшимися ее избежать. «Людам, подобным нам, – писал Флобер, – нужна религия отчаянья. Должно соответствовать своей судьбе, то есть быть столь же равнодушным. Только приговаривая „Так и есть! Так и есть!“ и заглядывая в разверзнувшуюся у ног черную бездну, можно сохранять спокойствие».

Я никогда не хотел ощутить вкус дула во рту. В сравнении с этим мой страх смерти незначительный, рациональный, практичный. Собрать новый «лимонный стол» или ужин, как в «Маньи», будет непросто еще и потому, что некоторые из присутствующих могут начать состязаться. Чем страх смерти как тема для мужского бахвальства хуже машин, денег, женщин или размера члена? «Просьпаетесь по ночам в холодном поту от собственного крика – ха! – это детский сад. Вот когда начнется...» Так что наши интимные переживания могут оказаться не только банальными, но маломощными. **МОЙ СТРАХ СМЕРТИ БОЛЬШЕ ТВОЕГО И ВСТАЕТ ЧАЩЕ.**

С другой стороны, это был бы один из тех случаев, когда в споре о мужских достоинствах гораздо приятней проиграть. В осознании смерти есть и такое утешение: всегда – практически всегда – найдется кто-нибудь в еще худшем положении, нежели вы. Не только Р., но и наш общий друг Дж. Он многолетний обладатель золотой медали танатофоба, поскольку пробудился этим самым *réveil mortel* в четыре года (в четыре! вот сволочь!). Эта новость так сильно поразила его, что он провел все детство в компании вечного небытия и ужасающей бесконечности. И теперь страх смерти преследует его гораздо сильнее, чем меня; кроме того, он чаще подвержен депрессиям. Есть девять базовых критериев Серьезного Приступа Депрессии (от Подавленного Состояния На Протяжении Почти Всего Дня через Бессонницу и Ощущение Бесплезности к Повторяющимся Мыслям о Смерти и Повторяющимся Фантазиям о Самоубийстве). Наличие любых пяти на протяжении двух недель – достаточное основание для диагноза «депрессия». Лет десять назад Дж. лег в больницу, умудрившись выбить девять из девяти. Он поведал мне об этом без желания заработать какие-то очки (я давно уже перестал с ним соревноваться), хотя и не без некоторого мрачного удовлетворения.

Каждому танатофобу требуется временное утешение в лице кого-то, кому еще хуже. У меня есть Дж., у него есть Рахманинов, человек, приходивший в ужас и от перспективы смерти, и от возможности загробной жизни; композитор, чаще всех использовавший в своей музыке тему *Dies Irae*; кинозритель, выбегавший из зала со сцены на кладбище в самом начале «Франкенштейна». Рахманинов удивлял своих друзей, только когда он *не* хотел говорить о смерти. Типичный случай: в 1915-м он посетил поэтессу Мариэтту Шагинян и ее мать. Первым делом он обратился к матери с просьбой погадать ему на картах, чтобы (разумеется) выяснить, сколько ему еще осталось жить. Затем он завел с дочерью разговоры о смерти: в тот день он выбрал для этого рассказ Арцыбашева. На журнальном столике стояли фисташки. Рахманинов съел пригоршню фисташек, поговорил о смерти, придвинулся поближе к блюду, съел еще одну пригоршню, поговорил о смерти. Неожиданно он откинулся на стуле и рассмеялся. «Эти фисташки прогнали мой страх смерти. Интересно куда». Ни поэтесса, ни ее мать не знали ответа; но когда Рахманинов уезжал в Москву, ему дали с собой в путешествие мешок орехов, «дабы избавить его от страха смерти».

Если бы мы с Дж. играли в русских композиторов, я бы ответил ему (или повысил ставки) Шостаковичем, более великим музыкантом, но столь же заикленным на смерти. «Мы должны больше думать о смерти, – говорил он, – и приучать себя к мысли о ней. Мы не можем позволить страху смерти подобраться к нам неожиданно. Мы должны свыкнуться со страхом, и один из способов – это писать о ней. Не думаю, что сочинения и мысли о смерти характерны только для стариков. Я считаю, что чем раньше человек начинает думать о смерти, тем меньше дурацких ошибок он совершит». Он также говорил: «Страх смерти, может быть, самое сильное чувство. Иногда я думаю, что сильнее переживания просто нет». Эти взгляды не выражались публично. Шостакович знал, что смерть – кроме примеров жертвенного героизма – не была подходящим сюжетом для советского искусства, что это «было бы равносильно тому, чтобы прилюдно вытирать нос рукавом». Он не мог позволить *Dies Irae* сверкать со своих партитур, ему приходилось музыкально конспирироваться. Но со временем осмотрительный композитор нашел в себе силы провести рукавом по ноздрям, особенно в камерной музыке. В его поздних работах встречаются длинные медленно-медитативные обращения к теме смерти. Виолончелист Квартета имени Бетховена однажды получил от композитора следующий совет относительно первой части Пятнадцатого квартета: «Играйте так, чтобы мухи дошли на лету».

Когда мой друг Р. высказался о смерти в передаче «Диски необитаемого острова», полиция отобрала у него ружье. После моего выступления посыпались разнообразные письма, в которых мне указывали на то, что я могу излечиться от своих страхов, если только загляну внутрь себя, откроюсь вере, пойду в церковь, научусь молиться и так далее. Теологическое блюдо фисташек. Писавшие не то чтобы поучали меня – там встречались авторы и суровые, и

сентиментальные, – но они на полном серьезе полагали, что такое решение для меня большая новость. Как будто я дикарь из далеких джунглей (хотя будь я таковым, у меня имелись бы свои обряды и система верований), а не говорю это в тот момент, когда христианство в моей стране близко к вымиранию, не в последнюю очередь из-за того, что в семьях, подобных моей, не верят уже не меньше века.

Примерно на век я и могу проследить историю своей семьи. За отсутствием других претендентов я стал семейным архивариусом. В неглубоком ящичке в нескольких метрах от моего рабочего места лежит весь корпус документов: метрики, брачные свидетельства и свидетельства о смерти; завещания и апостилы; характеристики и рекомендательные письма; паспорта, продовольственные карты, удостоверения личности (*cartes d'indentité*<sup>10</sup>); записные книжки, альбомы и газетные вырезки. Вот комические куплеты, которые написал мой отец (их следовало исполнять в смокинге, облокотившись на рояль, под нестройный, как в ночном клубе, аккомпанемент коллеги по школе или армейского товарища), его подписанные меню, театральные программки и наполовину заполненные крикетные карточки. Вот амбарная книга моей матери, ее списки адресатов для поздравлений с Рождеством и таблицы котировок акций и облигаций. Вот телеграммы и аэрограммы, которыми они с отцом обменивались во время войны (но не письма). Вот табели их сыновей и карты их физического развития, программки выступлений на школьных праздниках, грамоты по плаванию и легкой атлетике – из них видно, что в 1955-м я был первым по прыжкам в длину и третьим в беге, а мой брат с Дионом Шайрером однажды пришли вторыми в гонке на тележках, – а также свидетельства о давно забытых достижениях, подобно моему аттестату о Прилежном Посещении занятий в одном из семестров начальной школы. Вот еще дедушкины медали с Первой мировой – свидетельства его прилежного посещения Франции в 1916–1917 годах, о котором он не желал рассказывать.

Этот неглубокий ящик достаточно велик, чтобы хранить в себе весь семейный фотоархив. Пачки снимков подписаны папиным почерком: «Мы», «Мальчики» и «Старина». Вот папа в учительской мантии и летной форме, в смокинге, бриджах и белоснежной паре для крикета, обычно с сигаретой в руке или трубкой во рту. Вот мама в роскошных перелицованных платьях, строгом купальном костюме-двойке и щегольском наряде для танцев на масонском ужине. Вот французский *assistant*, который, вероятно, сфотографировал *Maxim, le chien*, и другой *assistant*, который помог развеять прах моих родителей на западном побережье Франции. Вот брат и я в юные белокурые годы демонстрируем модели домашнего трикотажа псу, пляжному мячу и маленькой тележке; вот мы завалились на один трехколесный велосипед; вот мы на десятках фото, вырезанных, а затем помещенных в картонные рамки под общим названием «Аттракционы Нестле, Олимпия, 1950».

А вот фотографические материалы дедушки – в альбоме красной кожи с названием «Виды большие и малые», купленном в местечке Колвин-Бэй в августе 1913-го. Коллекция охватывает период с 1912-го по 1917-й, после чего дедушка, похоже, перестал снимать. Вот Берт со своим братом Перси, Берт с невестой Нелл, а затем эти же двое в день свадьбы: 4 августа 1914-го, в день начала Первой мировой. И вдруг посреди пожелтевшей сепии неидентифицируемых родных и близких что-то вымарано: фотография сидящей в шезлонге женщины в белой кофточке, датированная «Сент. 1915». Рядом с датой что-то написанное карандашом – имя? место? – более или менее стерто. Лицо женщины яростно скоблили, пока от него не остался только подбородок и волнистые пшеничные волосы. Интересно, кто это сделал, почему и по отношению к кому.

Подростком я тоже пережил свою фотоэпоху с нехитрой проявкой и печатью на дому: пластмассовые бачки, оранжевый полумрак лаборатории, увеличитель, глянецватель и кон-

<sup>10</sup> Удостоверения личности (фр.).

трольки. В своей увлеченности я однажды откликнулся на журнальную рекламу, обещавшую недорогой, но волшебный продукт, который бы перенес мои скромные черно-белые снимки в пышный жизнью мир цвета. Не помню, советовался ли я с родителями, перед тем как отправить почтовый перевод, и был ли я расстроен, когда обещанное оказалось набором из кисточки и продолговатых кювет с красками, которые ложились на фотобумагу. Но я приступил к работе и оживил иллюстрированную историю своей семьи, пусть, возможно, и погрешив против исторической точности. Вот папа в ярко-желтых вельветовых брюках и зеленом свитере на фоне монохромного сада; дедушка в штанах такого же зеленого цвета, бабушка в кофточке, чья зелень разведена водой. У всех троих неестественные кроваво-розовые руки и лица.

Мой брат принципиально не доверяет истинности воспоминаний; я не доверяю тому, как мы их раскрашиваем. У нас у всех свои дешевые наборы, заказанные по почте, свои любимые краски. Так, несколькими страницами выше я назвал свою бабушку «миниатюрной и податливой». Мой брат, когда я обратился к нему, достал свою кисточку и в пику мне нарисовал ее «низкорослой и властной». Также в альбоме его памяти больше, чем в моем, снимков редкого выезда на остров Ланди, в котором участвовали три поколения семьи, в начале 1950-х. Для бабушки это почти наверняка был единственный раз, когда она покинула британскую сушу; для дедушки – первый раз после возвращения из Франции в 1917-м. Море в тот день было беспокойным, бабушку отчаянно мучило, и когда судно подошло к Ланди, нам сказали, что высаживаться слишком опасно. Мои воспоминания того дня – выцветшая сепия, для брата все по-прежнему анилиново-ярко. Он может описать, как бабушка провела все путешествие в трюме, как ее вытошнило в несколько пластиковых стаканчиков, а дедушка в надвинутой на брови кепке покорно принимал один за другим наполненные сосуды. Вместо того чтобы выбросить их, он выставил стаканчики на палубе, как будто специально хотел унижить бабушку. Я думаю, это любимое детское воспоминание моего брата.

Миниатюрная или просто низкорослая, податливая или властная? Наши расхождения в прилагательных отражают наши обрывочные воспоминания и полузабытые чувства. Я никак не могу разобрать, отчего мне больше нравилась бабушка, а ей – я. Боялся ли я дедушкиного деспотизма (хотя он никогда не поднимал на меня руку) или в проявлениях мужского характера находил его более неотесанным, чем папу? Тянулся ли я к бабушке, как к источнику женского тепла, которого в нашей семье не хватало? Хотя мы с братом общались с ней на протяжении двадцати лет, мы едва способны вспомнить хоть что-нибудь из сказанного ею. В обоих случаях, что он может привести, она взбесила нашу мать; так что ее слова скорее отложились у нас в памяти благодаря удивительному эффекту, который они возымели, нежели присущему им смыслу. В первый раз дело было зимним вечером, когда мама грелась у камина. Бабушка поделилась советом: «Не сиди близко, ноги изуродуешь». Другой был почти целое поколение спустя. К., дочери моего брата, тогда двух лет от роду, предложили кусок торта, который она приняла, не выразив признательности. «Скажи спасибо, дорогуша», – предложила ее прабабушка, на что «наша мать вышла из себя от употребления такого вульгаризма».

Говорят такие обрывки больше о бабушке, о нашей матери или о моем брате? Свидетельствуют ли они о бабушкиной властности? У меня, как я понимаю, не существует доказательств ее «податливости»; но их, вероятно, не может быть по определению. И сколько я ни искал у себя в памяти, я не смог найти ни одной прямой цитаты из уст женщины, которую, как считаю, я любил в детстве; только одна косвенная. Годы спустя после того, как бабушка умерла, мама привела мне образец ее благоприобретенной мудрости. «Она любила говорить: „На свете не было бы дурных мужчин, не будь дурных женщин“». То, как бабушка поддерживала концепцию первородного греха, было преподнесено мне с изрядной долей презрения.

Расчищая родительский загородный дом, я наткнулся на связку открыток, отосланных с 1930-х по 1980-е. Все они пришли из-за границы: очевидно, внутрибританские почтовые

отправления, вне зависимости от увлекательности их содержания, в какой-то момент были отбракованы. Вот отец пишет своей матери в тридцатые («Горячий привет из холодного Брюсселя»; «Австрия зовет!»); отец из Германии моей матери – в ту пору своей девушке? невесте? – во Францию («Интересно, получила ли ты все письма, которые я писал тебе из Англии. Получила?»); отец – своим оставшимся дома сыновьям («Надеюсь, вы ведете себя как следует и слушаете крикет по радио»), объявляя о приобретении марок для меня и спичечных коробков для брата. Затем идут наши с братом открытки, бурлящие подростковым юмором. Я пишу ему из Франции: «Начало каникул отмечено потрясающим взрывом 5 соборов. Завтра по-быстрому сожгу замки Луары». Он – мне из Шампери, куда папа взял его с собой на школьный выезд: «Добрались благополучно и, кроме сэндвичей с ветчиной, все довольны путешествием».

Я не могу датировать самые ранние открытки, поскольку марки были отпарены – вне сомнений, для моей коллекции, – а вместе с ними и штампы. Но я отмечаю, как по-разному мой отец подписывался, обращаясь к своей матери: «Леонард», «Как всегда, твой Леонард», вплоть до «С любовью, Леонард» и даже «Люблю, целую, Леонард». В открытках к моей матери он «Пип», «Твой Пип», «Как всегда, Пип», «С огромной любовью, Пип» и «Со всей любовью, Пип», взвинчивая градус с затерянного в прошлом периода ухаживания, которое привело к моему появлению на свет. Я прослеживаю, как отец менял свои имена. Он был крещен Альбертом Леонардом, и в семье его звали Леонард. Когда он стал преподавать, взяло верх имя Альберт, и на протяжении сорока лет в учительских отец был известен как «Альби» или «Малыш Альби» – хотя это могло идти от его инициалов А. Л. Б., – а иногда, в шутку, как «Уолли», в честь защитника «Арсенала» Уолли Барнса. Моя мать недолюбливала оба прозвища (так же как и, вне сомнения, «Уолли») и решила называть его Пип. В честь «Больших надежд»? Но едва ли он был Филипом Пиррипом больше, нежели она – Эстеллой. На войне, когда отец служил в Индии в Королевских ВВС, он снова поменял себе имя. У меня есть две принадлежавшие ему перьевые ручки, расписанные вручную тамошним умельцем. Кроваво-красное солнце заходит над минаретом, а также над именем моего отца: «Рикки Барнс, 1944, Аллахабад». Откуда взялся этот Рикки и куда он потом исчез? На следующий год отец вернулся в Англию и снова стал Пипом. В нем действительно было что-то мальчишеское, но с годами это имя подходило все меньше, по мере того как ему исполнялось шестьдесят, семьдесят, восемьдесят...

Он привез из Индии много разных интересных вещей: медный поднос, портсигар с инкрустациями, нож слоновой кости для писем со слоненком на рукоятке и пару раскладных столиков, которые частенько раскладывались до положения лежа. Был в моем детстве предмет, казавшийся равно желанным и экзотическим: круглый кожаный пуф. У кого еще в Эктоне был индийский кожаный пуф? Я любил скакать на нем; позже, когда мы переехали еще дальше за город и я вышел из возраста таких ребяческих забав, я любил обрушивать на него весь свой подростковый вес с агрессивной нежностью. Воздух выходил через швы, и пуф издавал звук, отдаленно напоминавший пуканье. В конечном итоге он не выдержал такого обращения, и я совершил открытие, которое бы сильно порадовало психоаналитиков. Поскольку Рикки Барнс, разумеется, привез из Аллахабада или Мадраса не целый пышный пуф, но разукрашенную кожаную обшивку, которую он – теперь уже снова Пип – с женой должен был чем-то заполнить.

Они заполнили его собственными письмами времен своего романа и первых лет семейного счастья. Мой подростковый идеализм при столкновении с жизненными реалиями легко сворачивал в цинизм; и это был один из таких случаев. Как же они могли взять свои любовные письма (несомненно, перевязанные ленточками), изорвать их на мельчайшие кусочки, а затем спокойно смотреть, как посторонние взгромождаются на них толстыми задами. Под «ними» я, разумеется, имею в виду мать, поскольку такая практичная утилизация соответствует моим представлениям скорее о ней, нежели об отце, которого я для себя наделяю более сентиментальной природой. Как представить себе это решение, эту сцену? Рвали они письма вместе или этим занималась она, пока он был на работе? Они спорили, были единомышленны или один из них



втайне негодовал? И даже если предположить, что они были единодушны, как они это провернули? Вот вам очередное навязчивое «что бы вы предпочли». Рвать в клочья свои признания в любви или те, что получили от кого-то?

В присутствии других я теперь опускался на пуф мягко и осторожно; когда я был один – тяжело падал на него так, что его выдох мог исторгнуть клочок голубой почтовой бумаги, исписанной рукой одного из моих молодых родителей. Если бы это был роман, я бы раскрыл какую-нибудь семейную тайну – *но никто не знает, что ребенок не твой, или теперь они никогда не найдут этот нож, или я всегда хотела, чтобы Г. был девочкой*, – и моя жизнь навсегда бы переменялась. (Вообще-то, моя мать действительно хотела, чтобы я родился девочкой, для которой было припасено имя Джозефин, так что это не было бы тайной.) Или – напротив – я мог бы обнаружить там только лучшие слова, какие мои родители сумели найти друг для друга, их нежнейшие выражения искренней любви. И никакой тайны.

На ладан дышавший пуф в какой-то момент был выдворен из дома. Вместо помойки его отправили в дальний конец сада, где от постоянных дождей он насквозь промок, отяжелел и практически выцвел. Проходя мимо, я порой пинал его ногой, вышибая из этой дуры еще несколько голубоватых клочков; чернила давно уже потекли, и вероятность вычитать там хоть какую-нибудь тайну была еще меньше. Я пинал пуф, как это может делать только разочаровавшийся романтик. Так вот чем оно все заканчивается?

Тридцать пять лет спустя последнее, что осталось от жизни родителей, на моих глазах уходило в неизвестность. Мы с братом хотели взять себе по несколько вещей; мои племянницы что-то выбрали для себя; затем пришел оценщик. Этот приятный, толковый малый, разбирая вещи, разговаривал с ними. Я думаю, такая привычка появилась от желания мягко подготовить клиента к неприятному расставанию, но превратилась в своего рода беседу с неодушевленным предметом, который он держал в руках. Он также понимал, что эти вещи, за которые скоро будут равнодушно торговаться у него в лавке и которые навсегда покидают свой дом, когда-то выбирали из тысяч других, с ними жили, с них стирали пыль, их полировали, чинили, любили. Поэтому он, как мог, находил для них теплые слова: «Вот милая вещица – не ценная, но милая»; или: «Викторианское стекло с узорами теперь встречается все реже – ценности никакой, но встречается реже». Безукоризненно вежливый с потерявшими хозяев вещами, он избегал критики или недовольства, предпочитая им сожаление либо надежду на далекую перспективу. Про бокалы «Мельба» 1920-х (ужасные, на мой вкус): «Десять лет назад они были в моде; сейчас их никто не хочет покупать». Про элементарный ящик для цветов в зеленую и белую шашечку: «До спроса на него придется подождать лет сорок».

Он забрал то, что можно было продать, и удалился, отслюнив несколько пятидесятифунтовых бумажек. После этого нам пришлось несколько раз загружать заднее сиденье машины и отправляться в местный центр утилизации бытовых отходов. Как настоящий сын своей матери, я купил для этого несколько огромных зеленых пакетов. Я донес первый из них до края большого желтого контейнера и понял – кровь от крови своей матери, – что пакеты слишком полезная штука, чтобы их выбрасывать. И таким образом последние останки, напоминавшие о существовании моих родителей, лишились упаковочной конфиденциальности, и то, от чего отказался оценщик, полетело прямо в контейнер, а я сохранил пакеты. (Ведь мама хотела бы этого?) Одним из последних туда полетел дурацкий металлический колокольчик, который папа купил в Шампери, в поездке, из которой мой брат писал мне про разочарование от сэндвичей с ветчиной; падая, он глухо зазвенел. Я оглядел то, что было у меня под ногами, и хотя я не совершил ничего незаконного или даже бестактного, я почувствовал себя немного скупердям, как будто вместо приличного гроба похоронил своих родителей в картонной коробке.

Это, кстати, не моя автобиография. И я не нахожусь «в поиске своих родителей». Я знаю, что, когда ты чей-то ребенок, это подразумевает и ощущение мучительной близости, и огромные запретные зоны неведения – по крайней мере, если судить по моей семье. И хотя я не отказался бы от расшифровки содержания того пуфа, не думаю, что мои родители хранили какие-то экзотические тайны. По большей части я пытаюсь – что может показаться совсем необязательным – определить, насколько мертвы мои родители. Отец умер в 1992 году, мать – в 1997-м. Генетически они продолжают жить в двух сыновьях, двух внуках и двух правнучках: в практически непристойной демографической упорядоченности. Их история живет в нашей памяти, которой одни доверяют больше других. Мой брат впервые высказал свои подозрения относительно этой функции мозга, когда я спросил его, что мы обычно ели дома. Подтвердив овсянку, бекон и тому подобное, он продолжил:

По крайней мере, так дела обстоят в моей памяти. Но ты, несомненно, помнишь все по-другому, и в качестве путевода по прошлому я память и в грош не ставлю. Я познакомился со своим коллегой и приятелем Жаком Бруншвигом в семьдесят седьмом на конференции в Шантильи. Я пропустил свою остановку и сошел с поезда в Кретее, оттуда взял такси (страшно дорогое) и приехал с опозданием на конференцию, где меня встретил Жак. Все это в моей памяти ясно как божий день. В интервью, опубликованном в его фestschrift<sup>11</sup>, Жак рассказывает про некоторых своих друзей. Он описывает нашу первую встречу в семьдесят седьмом в Шантильи: он встречал меня на вокзале и узнал сразу, как только я сошел с поезда. Все это в его памяти ясно как божий день.

Логичный вывод – ну что с них, философов, возьмешь: когда слишком занят абстрактными теориями, мудрено заметить, на какой ты станции, не говоря уж о том, что вообще происходит в конкретном мире, где проживают остальные. Французский писатель Жюль Ренар однажды предположил, что, «возможно, люди, наделенные очень хорошей памятью, не способны воспринимать общие идеи». Тогда моему брату, вероятно, досталась ненадежная память и общие идеи, а мне – безотказная память и идеи частного характера. Меня еще выручает неглубокий ящичек с семейными документами. Вот, к примеру, результаты моих школьных экзаменов, которые я сдавал в пятнадцать лет. Память никогда бы мне не подсказала, что лучшие отметки я получил по математике, а худшие, к своему стыду, по английскому: 77 из 100 за грамматические задания и 25 из 50 за сочинение. Свои вторые с конца оценки я получил, что неудивительно, по естествознанию. В той части экзамена, что касалась биологии, требовалось, в частности, нарисовать помидор в разрезе и объяснить процесс оплодотворения с тычинками и пестиками. В домашнем воспитании мы остановились примерно там же: родительское *pudeur*<sup>12</sup> преумножало молчание школьной программы. В результате я вырос без достаточных знаний о том, как функционирует тело; в моем понимании вопросов пола виделись явные перекосы, свойственные лишенному сестер самоучке из школы для мальчиков; и хотя благодаря своей голове я добивался относительных успехов в школьной и университетской учебе, я совершенно не представлял себе, как этот орган работает. Я дожил до взрослых лет в бездумной уверенности, что для жизни понимание человеческой биологии не важнее, чем понимание устройства автомобиля для его вождения. Если что-то пойдет не так, всегда же есть больницы и станции техобслуживания.

Я помню, как удивился, узнав, что клетки тела у меня не на всю жизнь, а будут замещаться через временные интервалы (но ведь и машину можно заново собрать из запасных

<sup>11</sup> Festschrift (нем.) – сборник материалов, изданный к юбилею ученого.

<sup>12</sup> Целомудрие (фр.).

частей, не так ли?). Я не знал точно, как часто происходят такие замены, но клеточное обновление главным образом давало добро на шутки вроде: «Она была уже не той женщиной, что я любил когда-то». Я, в общем, и не воспринимал это как повод для паники: в конце концов, мои родители и их родители наверняка уже раз или два подвергались подобной напасти и, похоже, вышли целыми-невредимыми; да они без каких-либо изменений остались самими собой. Насколько помню, я считал, что мозг тоже часть тела и к нему должны применяться те же принципы. Я бы запаниковал сильнее, если бы обнаружил, что основная молекулярная структура мозга, вместо того чтобы продуманно обновляться по мере надобности, на самом деле поразительно нестабильна; что *жиры и белки распадаются, практически как только синтезируются*; что молекулы вокруг синапса обновляются каждый час, а некоторые молекулы – каждую минуту. Что на самом деле мозг, который у вас был в прошлом году, поменялся уже несколько раз.

В детстве память – по крайней мере, насколько я помню – работает почти безотказно. Не только потому, что между событием и обращением к нему проходит меньше времени, но благодаря самой природе воспоминаний: молодому мозгу они представляются точными копиями, а не обработанными, раскрашенными версиями произошедшего. Со зрелостью приходят приблизительность, изменчивость и сомнения; и, пересказывая знакомую историю, мы загоняем сомнение в угол выверенными паузами, выдавая взвешенность рассказа за подтверждение его верности. Но ребенок или подросток, наслаждаясь яркими образами своего прошлого, редко сомневается в их подлинности и точности. В этом возрасте логичным образом кажется, что наши воспоминания дожидаются нас в вокзальной камере хранения и при предъявлении жетона будут выданы по первому требованию; или же (если предыдущее сравнение представляется устаревшим, как паровозы и купе для дам), что они подобны вещам, оставленным в придорожных боксах. Мы знаем, что в старости столкнемся с неким парадоксом, когда начнем вспоминать забытые эпизоды ранних лет жизни, которые будут проявляться в памяти более четко, чем то, что случилось с нами позднее. Но это, похоже, только подтверждает, что все хранится у нас где-то там в мозгу, независимо от того, можем ли мы это оттуда достать.

Мой брат не помнит, как больше полувека назад они с Дионом Шрайером пришли вторыми в гонке на тележках, и, следовательно, не может утверждать, кто из них сидел в тележке, а кто ее толкал. Не помнит он и неприемлемые сэндвичи с ветчиной в швейцарской поездке. Вместо этого он помнит события, не упомянутые в открытке: что там он впервые увидел артишок и впервые «получил сексуальное предложение от парня». Он также признается, что с годами перенес все происходившее во Францию: перепутав, вероятно, менее известное Шампери в Швейцарии (откуда колокольчик) с более знакомым Шамбери во Франции (откуда аперитив). Мы говорим о том, что помним, но следует, возможно, больше говорить о том, что мы забыли, хотя эта задача представляется более сложной – или, рассуждая логически, невозможной.

Наверное, мне стоит предупредить вас (в особенности если вы философ, теолог или биолог), что некоторые части этой книги покажутся вам самодеятельностью и поразят своим дилетантизмом. Но мы же все дилетанты, любители в том, что касается наших жизней. Сталкиваясь с чужим профессионализмом, мы надеемся, что кривая нашего относительного понимания идет приблизительно по той же траектории, что и кривая их знания; но мы не можем на это полагаться. Мне также следует предупредить вас, что в этой книге будет полно писателей. Большинство уже покойники, многие – французы. Один из них – Жюль Ренар, сказавший: «Именно перед лицом смерти мы особенно часто обращаемся к книгам». Будут здесь и композиторы. Один из них – Стравинский, сказавший: «Музыка – лучший из известных нам способов переживать время». Эти творцы – эти почившие творцы – мои ежедневные собеседники, но также и мои предки. Я на самом деле их наследник (могу предположить, что мой брат подобным

же образом относится к Платону и Аристотелю). Возможно, не прямой или незаконный – внебрачное дитя и все такое, – но я тем не менее претендую на родство.

Мой брат забыл про сэндвич с ветчиной, помнит артишоки и сексуальное предложение, подавил в своей памяти Швейцарию. Чувствуете, как вырисовывается теория? Возможно, отталкивающая колючесть артишока оказалась в связке с воспоминанием о сексуальном предложении. В таком случае это сочленение могло впоследствии отвратить его от артишоков (да и от Швейцарии). Только вот мой брат ест артишоки и несколько лет проработал в Женеве. Ага! Тогда, значит, ему понравилось предложение? Праздные любопытные вопросы получили быстрый ответ по мейлу. «Насколько помню, я не нашел предложение ни приятным, ни отвратительным – а только дико странным. После этого всякий раз, проезжая в метро, я делал вид, что занят домашней работой по геометрии». Мой брат в этой истории выглядит более практичным оптимистом, нежели я, когда однажды утром в переполненном вагоне какой-то нахал в костюме засунул свое бедро мне между ног, как будто больше его деть было некуда. Или когда Эдвардс (звали его иначе), мальчик постарше с прыщавым лицом, попытался скорее напасть, чем соблазнить меня в купе Южной Областной по пути домой с матча по регби. Я нашел это неприемлемым и если не отвратительным, то точно тревожным и навсегда запомнил те самые слова, которыми я осадил его пыл. «Умерь свою сексуальность, Эдвардс», – сказал я (хотя это был не Эдвардс). Мои слова сработали, но я помню их не столько благодаря их эффективности, сколько потому, что, несмотря на это, они представлялись мне не совсем точными. То, что он сделал, – быстро провел пальцем по моей ширинке – и отдаленно не напоминало то, что я считал сексуальным (для начала тут нужна женская грудь), и я понимал, что мое возражение предполагало то, чего на самом деле не было.

Студентом Оксфорда я впервые прочел Монтеня. С него начинаются современные размышления о смерти; он связующее звено между образцами античной мудрости и нашими попытками сообразно эпохе, по-взрослому, не пользуясь услугами религии, научиться принимать неизбежность нашего конца. *Philosopher, c'est apprendre a mourir*. «Философствовать – это значит учиться умирать»<sup>13</sup>. Монтень цитирует Цицерона («...философствовать – это... приуготовлять себя к смерти»), который в свою очередь приводит слова Сократа. В знаменитых просвещенных размышлениях Монтеня о смерти присутствуют стоицизм, высокая книжность, случаи из жизни великих, афоризмы и утешение (таково, по крайней мере, намерение автора); в них есть и ощущение безотлагательности. Как отмечала моя мать, раньше люди и вполнину не жили так долго. Сорок лет – уже очень хорошо, учитывая эпидемии и войны, во времена, когда врач мог скорее свести в гроб, чем вылечить. Умереть от «истощения сил вследствие глубокой старости» – это был во времена Монтеня «род смерти наиболее редкий и наименее обычный из всех». Сегодня мы полагаем это своим правом.

Филип Арьес заметил, что, как только смерти стали действительно бояться, о ней перестали говорить. Увеличение длительности жизни только осложнило дело. Поскольку вопрос этот теперь не кажется настолько срочным, поднимать его стало убийственно дурным тоном. То, как усердно мы откладываем мысли о смерти, напоминает мне давнишнюю рекламу страховой компании «Перл», которую мы с братом любили друг другу цитировать. Пенсии, как вставные челюсти или удаление мозолей на ногах, были настолько далеки от нас, что представлялись по большей части чем-то комическим. Это в некотором роде подтверждалось и примитивистскими, в несколько линий рисунками, на которых лицо у мужчины приобретало все большую озабоченность. В двадцать пять оно еще радостно-благодарно: «Мне сообщили, что моя работа не покрывается пенсионным планом». К тридцати пяти появляются небольшие сомнения: «К сожалению, при моей работе пенсию не платят». И так далее – со словом «пен-

<sup>13</sup> Здесь и далее «Опыты» Мишеля де Монтеня цитируются в переводе А. Бобовича и Н. Рыковой.

сия», выделенным на не сулящем добра сером прямоугольнике, – вплоть до шестидесяти пяти: «Ума не приложу, что мне делать без пенсии». Да, как сказал бы Монтень, и вправду надо было пораньше начинать думать о смерти.

В его эпоху этот вопрос все время стоял перед глазами – если только не пользоваться уловкой плебеев, которые, согласно Монтеню, притворялись, будто никакого вопроса и нет. Но философы и просто люди с пытливым умом искали в истории и у древних, как можно лучше умереть. Сегодня наши притязания ничтожны. «Смелость, – писал Ларкин в своем великом стихотворении о смерти „Рассветная песня“, – в том, чтоб не пугать других». Нет, тогда было по-другому. Дело было в гораздо большем: показать другим, как умереть достойно, мудро и не изменив себе.

В этом смысле один из ключевых для Монтеня моментов – история Помпония Аттика, состоявшего в переписке с Цицероном. Когда Атик слег с тяжелой болезнью, а усилия врачей по продлению его существования всего лишь продлевали боль и страдания, он решил, что лучшим решением будет умирить себя голодом. В то время вовсе не обязательно было обращаться в суд, приводя в качестве аргумента смертельное ухудшение вашего «качества жизни»: Атик, как свободный гражданин Древнего Рима, попросту поставил друзей и родных в известность относительно своего намерения, после чего отказывался от еды и ждал конца. Чудесным образом голодание оказалось лучшим лекарством от (неназванной) болезни. Все вокруг ликовали и пировали; возможно, даже врачи отказались от оплаты своих услуг. Но Атик прервал это веселье. Поскольку всем нам суждено умереть, объявил он, и поскольку я уже проделал славный путь в этом направлении, я не желаю идти назад, только чтобы в следующий раз начинать заново. И так, к восхищенному ужасу окружающих, Атик продолжил воздерживаться от пищи и достойно принял смерть.

Монтень полагал, что раз нам не победить смерть, лучший способ контрнаступления – это ни на секунду не забывать о ней: думать о смерти всякий раз, когда под вами споткнется конь или с крыши упадет черепица. Вкус смерти должен постоянно оставаться у вас во рту, а имя ее отскакивать от зубов. Такое предвкушение смерти освобождает вас от ее рабства: более того, научив человека умирать, вы учите его жить. Такое постоянное осознание смерти не превращает Монтеня в меланхолика, скорее – в фантазера и мечтателя. Он надеется, что смерть, его вечный спутник и добрый знакомый, постучавшись к нему в дверь, застанет его за привычными делами – скажем, когда он будет сажать капусту.

Монтень приводит поучительную историю, как к одному римскому цезарю обратился старый и дряхлый солдат. Воин когда-то служил под его началом и теперь просил разрешения прервать жизнь, которая ему уже опостылела. Цезарь оглядел его с ног до головы и спросил с грубоватым юмором, который, похоже, свойствен военачальникам: «Так ты, оказывается, мнишь себя живым?» Для Монтеня проходящая незаметно смерть юности зачастую страшнее самой смерти; то, что мы обычно называем смертью, есть не более чем смерть старости (около сорока в его время, семьдесят и больше – в наше). «Ведь прыжок от бытия-прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия-радости и процветания к бытию – скорби и муке».

Однако Монтень лаконичный автор, и если этот довод представляется неубедительным, у него есть много других. Например: если вы жили в достатке и познали все радости жизни, вы счастливо с ней распрощаетесь; а если жизнь была неуспешной и несчастной, вы не будете сожалеть о расставании с ней. (Предположение, которое, как мне кажется, легко вывернуть наизнанку: принадлежащие к первой категории могут желать бесконечного продления своих счастливых жизней, а люди из второй могут надеяться, что удача переменится.) Или: если вы по-настоящему прожили один день, насладившись им сполна, вы все на своем веку уже повидали. (Да нет же!) Ну хорошо, если вы так прожили целый год, вы уже все повидали. (По-прежнему – нет.) В любом случае надо освободить место на земле для других, так же как другие освободили его для вас. (Да, но я их об этом не просил.) И зачем роптать, что тебя не станет,

если так происходит со всеми? Подумай, сколько еще людей умрет в один день с тобой. (Это так, и их это раздосадует не меньше, чем меня.) А затем, наконец, чего конкретно ты просишь, проклиная смерть? Неужели бессмертия на земле, при нынешнем положении и условиях? (Я понимаю, о чем идет речь, но как насчет малой толики бессмертия? Половинки? Хорошо, сойдемся на четверти.)

Мой брат отмечает, что первая шутка про клеточное обновление датируется V веком до н. э. и в ней «один парень отказывался возвращать долг на основании, что он уже не тот, кому были одолжены деньги». Далее он указывает, что я неправильно понял кредо Монтеня «*Philosopher, c'est apprendre a mourir*». Цицерон имел в виду не то, что регулярные размышления о смерти умаляют ваш страх, а что философствующий философ готовится к смерти – в том смысле, что живет жизнью ума и не обращает внимания на тело, которое будет стерто смертью с лица земли. Платоники полагали, что после смерти мы становимся чистыми душами, освобожденными от телесных преград и потому способными думать легче и яснее. Поэтому на протяжении жизни философ должен готовить себя к своему посмертному состоянию такими техниками, как пост и самобичевание. Платоники верили, что после смерти все только начинается. Эпикурейцы, напротив, верили, что после смерти не будет ничего. Цицерон, по всей видимости (здесь я употребляю «по всей видимости» в значении «а еще мне брат рассказал»), объединил эти две традиции в радостное античное или/или: «После смерти будет лучше или ничего не будет».

Я спрашиваю, что должно, по идее, произойти в загробном мире платоников с огромным количеством нефилософов. Очевидно, все наделенные душой создания, включая животных и птиц – и, возможно, даже растения, – будут оцениваться по тому, как они вели себя в только что прошедшей жизни. Те, кто не дотянул до проходного балла, отправляются еще один раз в материальный мир, возможно получая видовое (становясь, скажем, лисой или гусем) или просто внутривидовое повышение или понижение (женщину, например, могут произвести в мужчину). Философы, как объясняет мне брат, не освобождаются от физической оболочки автоматически: для этого еще надо быть хорошим парнем. Но уж если они проходят экзамен, их стартовые позиции гораздо лучше, чем у полчищ нефилософов, не говоря уж о кувшинках и одуванчиках. У тех, разумеется, тоже дела пойдут получше, поскольку они приблизятся к конечному идеальному состоянию. «Да, – продолжает он. – Тебе, возможно, захочется задать мне кое-какие вопросы (например, к чему получать лучшие стартовые позиции в гонке, которая длится вечно?). Но думать об этом – только зря время терять, потому что все это (в философской терминологии) хрень собачья».

Я прошу его объяснить поподробнее, отчего он вынес предложению «Я не верю в Бога, но мне Его не хватает» вердикт «жеманство». Он признается, что не понимает, как истолковать мое заявление: «Наверное, как способ сказать „Я не верю в богов, но мне жаль, что их нет (или, возможно: но мне жаль, что я не верю)“». Я понимаю, почему люди говорят подобное (попробуй вместо „богов“ подставить „дронтов“ или „снежных людей“), но меня лично вполне устраивает настоящее положение вещей». Видно же, что он преподает философию, да? Я задаю ему вопрос про конкретную ситуацию, он логически препарирует утверждение и, подставляя взамен другие существительные, демонстрирует его абсурдность, или несостоятельность, или жеманство. Однако его ответ представляется мне настолько же странным, насколько ему – мой вопрос. Я ведь спрашивал его, что он думает про отсутствие не дронтов или снежных людей (или даже богов, во множественном числе, со строчной), но Бога.

Я проверяю наличие у него за всю жизнь каких-либо религиозных чувств или устремлений. НЕТ и НЕТ, отвечает он, «если не считать восхищения от „Мессии“<sup>14</sup> и „Священных

<sup>14</sup> Оратория Г. Генделя (1685–1759), впервые исполнена в 1742 г.

сонетов“ Донна». Я интересуюсь, передалась ли такая уверенность двум его дочерям, которым сейчас за тридцать. Какие-либо религиозные переживания/вера/тяга к сверхъестественному, спрашиваю я. «Нет, никогда, вообще никак, – отвечает младшая. – Если только не считать тягой к сверхъестественному привычку не ступать на стык плит, когда идешь по тротуару». Мы соглашаемся не считать. Ее сестра признается в «кратковременном стремлении уверовать, когда мне было примерно одиннадцать». Но «это потому, что верили мои друзья, потому, что я хотела молиться о подарках и получать их, и из-за давления со стороны вожатых, которые уговаривали обратиться в христианство. Мои молитвы остались без ответа, и все закончилось достаточно быстро. Теперь я, наверное, агностик или даже атеист».

Я рад, что она поддержала семейную традицию отказываться от религии по пустяковому поводу. Для моего брата это было подозрение, что Георг VI не отправился на небеса; для меня – нежелание отвлекаться от рукоблудства; для моей племянницы – то, что она своевременно не получила упомянутое в молитве. Однако я допускаю, что такая нелогичная легкомысленность в порядке вещей. Вот, например, что говорит биолог Льюис Вольперт: «Я был крайне религиозным ребенком, каждый вечер молился и неоднократно просил Божьей помощи. Толку от этого было мало, я перестал молиться лет в шестнадцать и с тех пор атеист». И никто из нас не удосужился задуматься, что, возможно, Бог, если Он существует, в основном занимается не консультацией подростков, доставкой товаров или наказанием онанистов. Нет же, покончим с Ним раз и навсегда.

В опросах об отношении к религии часто встречается приблизительно такой ответ: «Я не хожу в церковь, но у меня свое личное представление о Боге». Заявления подобного рода вызывают уже у меня реакцию философа. Какое же это жеманство! У вас может быть свое личное представление о Боге, но есть ли у Бога Его личное представление о вас? Потому что дело-то как раз в этом. Кем бы Он ни был: белобородым стариком на облаке или жизненной силой, беспристрастной первопричиной, наладчиком часов, женщиной, нравственным законом в небе или Вообще Ничем, главное, что Он, Она, Оно или Ничто думает о вас, а не то, что думаете вы. Идея превратить Бога во что-то подходящее для вас попросту смехотворна. И даже не важно, справедлив Бог, милостив или исключительно наблюдателен – о чем у нас поразительно мало данных, – важно только, существует ли Он.

В детстве я знал только одного белобородого старика, это был мой прадедущка, отец отца моей матери: Альфред Сколток, йоркширец и (естественно) школьный учитель. Есть фотография, на которой мы с братом стоим по бокам от него в каком-то неопознаваемом садике. Брату, наверное, семь-восемь, мне – четыре-пять, а прадедущка стар как мир. Борода у него не такая длинная и вьющаяся, как обычно у Бога на рисунках, а короткостриженная и колючая. (Не могу утверждать, терся ли он когда-нибудь ею о мою детскую щеку, или это просто воспоминание о моем опасении.) Мы с братом нарядные и с улыбками на лицах – я улыбаюсь больше, – в рубашонках с короткими рукавами, тщательно выглаженных матерью; на моих шортах еще остались приличные складки, хотя его – на удивление мятые. Прадедущка не улыбается и, на мой взгляд, немного огорчен, как будто понимает, что его снимают на память, в которую он очень скоро удалится. Один приятель, посмотрев на фотографию, назвал его моим китайским предком, и в нем действительно было что-то от Конфуция.

Не имею представления, насколько он был мудр. По словам моей матери, которая выделяла всех мужчин в своей семье, он был высокообразованным самоучкой. Традиционно на эту тему приводились два примера: как он самостоятельно научился играть в шахматы и достиг высокого уровня и как, когда моя мать, преподававшая современные языки в Бирмингемском университете, поехала по обмену в Нанси, прадедущка выучил французский по учебнику, чтобы, когда они вернутся, он мог общаться с маминной заграничной подругой.

Мой брат виделся с ним несколько раз, но у него менее лестные воспоминания, что, возможно, объясняет, почему на фотографии он улыбается более сдержанно. Семейный Кон-



фуций «отвратительно вонял» и проживал со «своей дочерью (тетя Эди), которая была не замужем, немного больная на голову и вся в экземе». Мой брат не помнит ни шахмат, ни французского. Только способность решать кроссворды в «Дейли мейл», не заполняя ни одной клетки. «После обеда он дремал, периодически бормоча „арбалет“ или „ятаган“».

«Я не знаю, существует ли Бог, но для Его репутации лучше бы Его не было». «Бог не верит в нашего Бога». «Да, Бог есть, но Он знает об этом не больше нашего». Это разные предположения Жюля Ренара, одного из моих покойных французских некровных родственников. Он родился в 1864-м, детство провел в Ньевре, в деревенской глухомани северной Бургундии. Его отец Франсуа из простого строителя стал мэром их деревни Шитри-ле-Мин. Он мало разговаривал, ненавидел церковников и был неукоснительно честен. Мать Жюля – Анна-Роза была женщиной болтливой, лицемерной и лживой. Смерть их первого ребенка так ожесточила Франсуа, что он едва уделял время следующим трем: Амели, Морису и Жюлю. После рождения самого маленького Франсуа перестал разговаривать с Анна-Розой и больше не обращался к ней все оставшиеся тридцать лет своей жизни. В этой молчаливой войне Жюль – чьи симпатии были на стороне отца – часто использовали как посредника и переговорщика: незавидная роль для ребенка, хотя и полезная для будущего писателя.

По большей части эта история воспитания переключалась в самую известную книгу Ренара «Рыжик». В Шитри многие были не в восторге от такого «романа с ключом»: Жюль, рыжеволосый деревенский паренек, отправился в Париж, обтесался там и написал повесть о рыжеволосом деревенском паренке, в которой отрекался от собственной матери. Что важнее, Ренар отрекался и способствовал уничтожению целого сентиментального образа детства в духе Гюго. Обыденная несправедливость и инстинктивная жестокость здесь в порядке вещей; минуты пасторального умиления – исключение. Обращая взгляд в прошлое, Ренар ни разу не балует свое детское альтер эго жалостью к самому себе – чувство (обычно возникающее в юности, но способное длиться вечно), которое лишает подлинности многие литературные воспоминания о детстве. Для Ренара ребенок «маленькое ненужное животное, менее человеческое, чем кошка». Это наблюдение из его главного произведения, «Дневника», который Ренар вел с 1887 года до своей смерти в 1910-м.

Несмотря на парижскую славу, корни его были в Ньевре. В Шитри и в соседней деревне Шомо, где он жил уже взрослым, Ренар знал крестьян, живших так же, как и столетия назад: «Крестьянин – единственный подвид человека, которому не нравится природа и который никогда не любит ее». Там он изучал птиц, животных, насекомых, растения, деревья и стал свидетелем появления поезда и автомобиля, которым суждено было полностью поменять жизнь деревни. В 1904-м его также избрали мэром Шитри. Ему нравились его административные обязанности – вручать школьные награды, сочетать браком. «После моей речи женщины плакали. Невеста подставила мне щеку для поцелуя и даже губы; это стоило мне 20 франков». Политически он был социалистом, дрейфусианцем, антиклерикалом. Он писал: «Как мэр я отвечаю за ремонт сельских дорог, как поэт я хотел бы видеть их в запустении».

В Париже он общался с Роденом и Сарой Бернар, Эдмоном Ростаном и Андре Жидом. И Боннар, и Тулуз-Лотрек были иллюстраторами его «Естественных историй», а Равель положил некоторые из них на музыку. Однажды он был секундантом на дуэли, в которой секундантом с противоположной стороны выступал Гоген. Но и в такой компании он мог оставаться мрачным, грубым и безжалостным. Однажды он заявил Доде, который был с ним любезен: «Не знаю, *mon cher maître*<sup>15</sup>, люблю я вас или ненавижу». – «*Odi et amo*»<sup>16</sup>, – невозмутимо ответил тот. Один

<sup>15</sup> Сударь (фр.).

<sup>16</sup> «Люблю и ненавижу» (лат.). Из стихотворения Катулла (87–54 до н. э.).

эстет назвал его «мужицкой криптограммой» – вроде секретного знака из тех, что бродяги оставляли мелом на домах, понятного только таким же бродягам.

Ренар пришел к написанию прозы в эпоху, когда роман казался делом завершенным, когда великие описательные и аналитические проекты Флобера, Мопассана, Гонкура и Золя уже исчерпали мир и ничего не оставили сочинительству. Единственный путь вперед, решил Ренар, лежал в компрессии, примечаниях, разъятии картины на части. Сартр в своих возвышенных и довольно завистливых комплиментах «Дневнику» восхищался выбором, перед которым стоял Ренар, больше, чем его решением: «С него берут начало многие современные попытки понять сущность отдельной вещи» и «Если с него начинается современная литература, то потому, что у него было смутное представление о территории, на которую он запретил себе вступать». Жид, чей собственный «Дневник» на протяжении многих лет пересекался с Ренаровым, жаловался (возможно, из духа соперничества), что у последнего «не река, а перегонный завод»; хотя впоследствии признавал, что читал его с восторгом.

Вам перегонный завод или реку? Жизнь, выраженную в нескольких каплях крепкого или в литре нормандского сидра? Это выбор читателя. Писатель мало властвует над своим характером и никак над историческим моментом, и он только частично распоряжается своей эстетикой. Перегонка, дистилляция была и ответом Ренара на литературу, которая существовала до него, и выражением его природной сдержанности. В 1898-м он писал: «Почти про все произведения литературы можно сказать, что они слишком длинны». Это замечание появляется на четырехсотой странице тысячестраничного «Дневника», произведения, которое было бы в полтора раза длиннее, если бы вдова Ренара не сожгла страницы, нежелательные, по ее мнению, для глаз посторонних.

В «Дневнике» Ренар напряженно и тщательно следит за миром природы, описывая его без сентиментального восхищения. Он так же тщательно следит за миром людей, описывая его с ироничным скептицизмом. Однако он понимал, в отличие от многих, природу и назначение иронии. 26 декабря 1899-го, перед самым началом века, которому она пригодится больше всего, Ренар писал: «Ирония не сушит траву. Она только выжигает сорняки».

Друг Ренара Тристан Бернар, драматург и остряк, однажды поймал катафалк вместо такси. Когда карета остановилась, он беззаботно поинтересовался: «Свободно?» Ренара смерть окликала несколько раз, перед тем как он встретился с ней в сорок шесть лет. Вот примеры того, как он особенно внимательно прислушивался к ней.

1) В мае 1897-го его брат Морис под предлогом необходимости почистить оружие убивает отцовский револьвер с прикроватного столика. Следует семейная ссора. Франсуа Ренару не по душе ни действия сына, ни его оправдания: «Он лжет. Он боится, что я убью себя. Но если бы я хотел это сделать, я бы выбрал другой инструмент. От револьвера я бы, наверное, просто остался калекой». Жена Жюль поражена. «Перестаньте так говорить», – протестует она. Но мэр Шитри непоколебим: «Нет, я бы дурака не валял. Я бы взял свое ружье». Жюль язвительно предлагает: «У тебя гораздо лучше получилось бы с клизмой».

Франсуа Ренар, однако, знает или считает, что он безнадежно болен. Четыре недели спустя он запирается в спальне, берет ружье и при помощи трости нажимает спусковой крючок. Ему удается выстрелить из обоих стволов, чтобы наверняка. Посылают за Жюлем, он выламывает дверь; повсюду дым и запах пороха. Сперва он думает, что отец пошутил; затем ему приходится поверить в съехавшее на пол тело, незрячие глаза и «над поясом... темное пятно, похожее на небольшое пепелище». Он берет отца за руку, рука до сих пор теплая, мягкая.

Франсуа Ренар, антиклерикал и самоубийца, первый, кого хоронят на кладбище Шитри без церковной службы. Жюль полагает, что его отец умер героически, проявив древнеримские доблести. Он пишет: «В целом эта смерть прибавила мне гордости». Через шесть недель после

похорон он приходит к выводу: «От смерти отца у меня чувство, как будто я написал прекрасный роман».

2) В январе 1900-го Морис Ренар, вроде бы здоровый тридцатисемилетний чиновник Дорожного управления, падает без сил в своем парижском бюро. Он всегда жаловался на паровое отопление в здании. Одна из главных труб идет прямо над его рабочим столом, и температура часто доходит до двадцати градусов. «Они меня убьют своим центральным отоплением», – предсказывает парень из деревни; но ангина оказалась более действенной угрозой. В конце рабочего дня, уже собираясь домой, он теряет сознание за своей конторкой. Его переносят со стула на кушетку, дыхание затруднено; не проронив ни слова, через несколько минут он мертв.

Снова посылают за Жюлем, находящимся в это время в Париже. Когда он входит, брат лежит поперек кушетки, согнув колено; изможденная поза напоминает Жюлю смерть отца. Писатель не может не заметить импровизированную подушку, на которой лежит голова его мертвого брата: телефонный справочник Парижа. Жюль садится и плачет. Жена обнимает его, и он чувствует в ней страх, что следующим будет он. Взгляд цепляется за рекламу, напечатанную черным по краю телефонного справочника; издали он пытается прочесть ее.

Жюль с женой проводят эту ночь у тела покойного. Неоднократно Жюль поднимает плапок, прикрывающий лицо брата, и смотрит на его полуоткрытый рот, в ожидании, что тот снова начнет дышать. С течением времени нос приобретает более мясистый вид, а вот уши становятся твердыми, как морские раковины. Морис теперь довольно холодный и одеревенелый. «Его жизнь перешла в мебель, и при малейшем скрипе мы вздрагиваем».

Три дня спустя Мориса хоронят в Шитри. Священник ждет, когда его позовут, но от его услуг отказываются. Жюль идет за катафалком, наблюдает трясущиеся венки, думает, что лошадь выглядит, как если бы этим утром ее специально выкрасили черной грязью. Когда гроб опускают в семейную яму, он замечает жирного червяка, который будто торжествует на краю могилы. «Если червяки могут ходить гоголем, то именно это он и делал».

Жюль приходит к выводу: «Я чувствую только злость на смерть и ее идиотские фокусы».

3) В августе 1909-го маленький мальчик, свесив ноги с телеги посреди Шитри, видит, как женщина, сидящая на каменном краю деревенского колодца, вдруг падает навзничь. Это мать Ренара, которая в последние годы теряла рассудок. В третий раз посылают за Жюлем. Он прибегает, бросает шляпу и трость, заглядывает в колодец: на поверхности воды он видит несколько юбок и «легкое завихрение, знакомое тем, кто топил животных». Он пытается спуститься в ведре; шагнув в него, замечает, что раструбы его анекдотично высоких сапог выгибаются, как рыба в садке. Тут кто-то приносит лестницу; Жюль вылезает из ведра, спускается по перекладинам, ему удается только промочить ноги. Двое ловких крестьян спускаются в колодец и достают тело; на нем ни царапины.

Ренар не может разобраться, был это несчастный случай или еще одно самоубийство; он называет смерть своей матери «непостижимой». Он заявляет: «Возможно, тот факт, что Бог недоступен пониманию, – сильнейший аргумент в пользу Его существования». Он приходит к выводу: «Смерть – не художник».

В Бретани, когда я жил среди священников, я открыл для себя великого бельгийского автора-исполнителя Жака Бреля. В молодости за свою склонность поучать он был известен как «Аббат Брель»; в 1958-м он записал «Dites, si c'était vrai» («А что, если все так и есть?»). Это скорее не песня, а молитвенный стих, проинтонированный дрожащим голосом на фоне гулко-го органа. Брель просит представить себе, что произойдет, «если это было на самом деле». Если Иисус действительно родился в вифлеемском хлеву... Если то, что написали евангелисты, было правдой... Если действительно произошла эта *coup de théâtre*<sup>17</sup> на свадьбе в Кане

<sup>17</sup> Неожданная развязка (фр.).

Галилейской... или другая развязка, эта история с Лазарем... Если все это было на самом деле, приходит к выводу Брель, тогда мы скажем «да», потому что как же прекрасно верить, что все это правда.

Сегодня я считаю это одной из худших записей Бреля; и в зрелые годы певец из молодого богоискателя превратился в ерничающего атеиста. Но эта ранняя песня, болезненно искренняя, действительно по делу. Если бы это было правдой, это было бы прекрасно; а поскольку это прекрасно, это было бы еще истинней; чем истинней, тем прекрасней и так далее. ДА, НО ЭТО ЖЕ НЕПРАВДА, ДУБИНА, слышу я замечание своего брата. Подобное пустобрехство даже хуже гипотетических желаний, приписываемых мертвой матери.

Сомнений нет. Однако христианская религия продержалась так долго не только потому, что все в нее верили; потому что она насаждалась властями и священнослужителями; потому что помогала управлять обществом; потому что других не было или потому что, если не верить – или слишком громко проявлять свое неверие, – жизнь могла довольно быстро прерваться. Она продержалась так долго, потому что это была прекрасная ложь, потому что действующие лица, сюжет, разнообразные *coups de théâtre*, всеохватная борьба Добра и Зла превратились в отличный роман. История Христа – благородная миссия, столкновение с деспотом, преследование, предательство, казнь, воскресение – прекрасный пример формулы, которую Голливуд, как известно, давно отчаянно ищет: трагедия с хеппи-эндом. Чтение Библии как «литературы», иронично намекал наш старый школьный учитель, не сравнится с чтением Библии как истины – истины, подкрепленной красотой.

В Лондоне я сходил на концерт со своим другом Дж. Прозвучавшие тогда священные хоралы уже испарились у меня из памяти, в отличие от вопроса, который Дж. задал мне после: «Сколько раз за вечер ты думал о нашем Господе, восставшем из мертвых?» – «Ни разу», – ответил я. Интересно, думал ли о нашем Господе сам Дж.; он, вообще-то, сын пастора и обладал привычкой – единственный среди моих друзей – говорить на прощание: «С богом!» Это свидетельство остатков веры? Или просто языковая привычка, как «Grüss Gott»<sup>18</sup> в некоторых частях Германии?

Мне особенно не хватает Бога, когда не хватает фундаментального целеполагания и веры при встрече с сакральным искусством. Это одно из навязчивых «если бы» неверующего: как бы все было, «если бы это было на самом деле...». Представьте себе, что вы слышите «Реквием» Моцарта в великом соборе – или, скажем, «Рыбацкую мессу» Пуленка в просоленной часовне на краю утеса – и верите в каждое слово; представьте себе, что читаете святой комикс Джотто в Падуанском соборе как нон-фикшн; представьте, что у Донателло вы видите настоящее лицо Христа или плачущую Марию Магдалину. Это ведь добавило бы, мягко говоря, очарования?

Такое желание кажется неуместным и грубым: больше бензина в баке, больше алкоголя в вине, лучшего (и некоторым образом большего) эстетического переживания. Но дело не только в этом. Эдит Уортон понимала это чувство – и неудобство от него, – когда восхищаешься церквями и соборами, уже не веря в то, что олицетворяют эти здания; и она описала, как, чтобы все это понять и почувствовать, можно постараться вообразить себя несколько столетий назад. Но даже лучший ретрофантазер не сможет достичь того, что открывалось христианину, когда он взирав, задрал голову, на новые витражи Буржского собора, или слушал кантату Баха в соборе Святого Фомы в Лейпциге, или перечитывал старую библейскую историю на офортах Рембрандта. Вероятно, правда заботила этого христианина больше, чем эстетика; или, по крайней мере, его оценка величия художника зависела от эффективности и оригинальности (или тогда уже степени осведомленности), с которыми излагались религиозные догматы.

Так ли важно, что мы убрали веру из сакрального искусства, что мы, руководствуясь эстетикой, превращаем его просто в набор красок, структур, звуков, а подлинное значение так

---

<sup>18</sup> Немецкое приветствие (буквально: «Слава богу»).

же далеко от нас, как воспоминания детства? Или это бессмысленный вопрос, раз у нас нет выбора? Притворно верить, не имея веры, когда исполняют «Реквием» Моцарта, – все равно что притворно находить смешными грубые шутки Шекспира (хотя некоторые театралы неумолимо хохочут над ними). Несколько лет назад я был в Бирмингемской городской галерее. В застекленном углу висела небольшая напряженная картина Петруса Кристуса, на которой Христос демонстрирует свои раны: вытянутым указательным и большим пальцами он показывает, где вошло копьё, – даже предлагает нам оценить размер отверстия. Его терновый венец распустился в зефирное сияние славы. Двое святых, один с лилией, другой с мечом, прислуживают ему, разводя в стороны зеленый бархат на удивление домашней авансцены. Детально рассмотрев картину, я уже сделал несколько шагов назад, когда обратил внимание на отца в тренировочном костюме с маленьким сыном, которые приближались ко мне пружинящей походкой ненавистников искусства. Когда они завернули в закуток, отец, у которого и кроссовки были получше, и сил побольше, опережал сына метра на два. Мальчик взглянул на экспонат и спросил с сильным местным акцентом: «А чего он держится за грудь, па?» Отец, не притормаживая, изловчился бросить взгляд назад и мгновенно ответить: «Без понятия».

Сколько бы удовольствия и правды мы ни черпали из светского искусства, созданного специально для нас, сколько бы оно ни задевало наше чувство прекрасного, было бы великой жалостью, если бы наша реакция на то, что ему предшествовало, в итоге сократилась до «Без понятия». Однако так, разумеется, и происходит. Подписи к музейным работам все чаще объясняют такие события, как Благовещение или Успение Богородицы, хотя редко когда – кто есть кто среди всех этих полчищ святых с символами. Мне бы самому понадобился иконографический словарь, если бы меня попросили назвать двух святых на картине Петруса Кристуса.

Каково будет жить, когда христианство войдет в список мертвых религий и его будут изучать в университетах на курсе фольклора; когда богохульство станет не разрешенным или запрещенным, а попросту невозможным? Будет все примерно так. Недавно я был в Афинах, где впервые увидел фигурки с Кикладских островов. Они были сделаны приблизительно в 3000–2000 годах до н. э., подавляющее большинство женского пола, и бывают двух типов: полуабстрактных скрипичных форм и более натуралистичные стилизованно вытянутые тела. У вторых обычно: длинный нос на лице, плоском как щит и лишенном других черт; вытянутая шея; руки сложены на животе, левая неизменно над правой; намеченный треугольник лобка; вырубленное разделение между ног; вытянутые носки.

Это образы исключительной чистоты, степенности и красоты, которые достигают вас, как тихая приглушенная нота, услышанная через притихший концертный зал. Как только вы видите перед собой одну из этих фигур, почти все не больше ладони, вы, кажется, эстетически понимаете их; и они, похоже, подыгрывают вам, тайно призывая не обращать внимания на историко-археологическую информацию со стендов. Отчасти это потому, что они так явно напоминают своих модернистских последователей: Пикассо, Модильяни, Бранкузи. Напоминают и превосходят их: полезно видеть, как эти замечательные титаны модернизма выглядят менее оригинальными в сравнении с общиной неизвестных кикладских резчиков; полезно лишний раз вспомнить, что история искусства идет не только по прямой, но и по кругу. После минутного дерзкого удовлетворения от собственной сообразительности вам открывается спокойствие и отрешенность этих фигурок. Теперь приходят на ум другие сравнения: Пьеро или Вермеер. Рядом с вами величественная простота и невыразимое спокойствие, в котором, кажется, и вся глубина Эгейского моря, и укор нашему безумному современному миру. Миру, который все больше восхищается подобными артефактами и потому желает их в технически невозможных количествах. Подделка, как лицемерие, есть дань, которую порок платит добродетели, и в этом случае дань уплачена.

Но что именно мы или, скорее, я – да, лучше я приму на себя эту вину – здесь рассматривал? И разве мои реакции, пусть болезненно подлинные, соответствовали этим предметам?

(Или же предметы искусства с годами превращаются или вырождаются до наших на них реакций?) Покрывающей их с ног до головы бледной кремовости, производящей эффект возвышенного спокойствия, изначально не существовало: хотя бы головы фигурок, скорее всего, раскрашивали довольно живо. Минималистская – и протомодернистская – резьба диктуется практическими соображениями и, по крайней мере частично, следует из чрезвычайной сложности работы с мрамором. Вертикальное положение – то, как эти маленькие фигуры встают перед нами на цыпочки и потому зрительно возвышаются над нами, – изобретение музейных кураторов, поскольку по большей части они создавались для горизонтального размещения лежа. А что касается молчаливого укора, то дело, скорее, в могильном спокойствии и суровости. Мы рассматриваем кикладские фигурки как произведения искусства – мы не можем иначе, – но они служили украшением гробниц. Мы, понимая их ценность, демонстрируем их в музеях под тщательно подобранным светом; их создатели, понимая их ценность, хоронили фигурки в земле, где их могли увидеть только духи мертвых. А во что именно – или хотя бы приблизительно – верили люди, создавшие такие произведения? Без понятия.

Искусство, разумеется, только начало, только метафора, как и всегда. Ларкин, зайдя в пустую церковь, задается вопросом, что случится, когда «необходимость в церкви отпадет»<sup>19</sup>. Их «оставят пару-тройку как музей» (это «оставят» всегда возбуждает во мне писательскую ревность) или «мы их будем обходить, как порчу наводящие места»? Ларкин приходит к выводу, что такие заброшенные строения будут – всегда – для нас притягательны, поскольку «жажде посвящения быть и впредь».

Не это ли подспудно гложет нас оттого, что Его Не Хватает? Бог умер, а без Него человеческие существа могут наконец-то подняться с колен и выпрямиться во весь рост; и этот рост оказывается совершенно карликовым. Эмиль Литтре, лексикограф, атеист, материалист (и переводчик Гиппократы) пришел к заключению, что «человек весьма нестабильное соединение, а Земля – бесспорно низкосортная планета». Раньше религия даровала утешение от мирских забот и награждала верных в конце жизненного пути. Но помимо этих приятных вещей она еще и задавала человеческой жизни контекст и, следовательно, удовлетворяла жажду посвящения. Она делала людей лучше? Иногда; иногда нет; и верующие, и неверующие на протяжении веков равно искусны и отвратительны в своих преступлениях. Была ли она правдой? Нет. Так зачем переживать, что ее нет?

Потому что это была прекраснейшая выдумка и совершенно естественно чувствовать утрату, когда дочитываешь великий роман. В Средние века было принято подвергать животных суду – саранчу за истребление урожая, жуков-точильщиков за пожирание церковного зерна, свиней за то, что те питались подзаборными пьянчугами. Иногда животное препровождали в здание суда, иногда (как в случае с насекомыми) их вынужденно судили *in absentia*<sup>20</sup>. Устраивали полное судебное разбирательство с обвинением, защитой и судьей в мантии, который объявлял различные наказания – условный приговор, ссылка, а то и отлучение от Церкви. Иногда даже производилась судебная казнь: свинью мог повесить за шею до наступления смерти судебный пристав в перчатках и капюшоне.

Все это представляется – нам, сегодня – бессмысленной экстравагантностью, выражением непостижимого средневекового мышления. И в то же время все это было совершенно рационально и цивилизованно. Мир был сотворен Богом, следовательно, все, что происходило в нем, либо служило выражением Божественного умысла, либо являлось результатом свободы воли, которую Бог даровал Его тварям. В некоторых случаях Бог мог воспользоваться царством зверей в укор Его человеческим творениям: например, наслать в наказание полчища саранчи,

<sup>19</sup> Здесь и далее перевод стихотворения Бориса Лейви.

<sup>20</sup> В отсутствии (обвиняемого) (лат.).

которые суд, соответственно, обязан был по закону признать невиновными. Но что, если одурманенный пьяница свалился в канаву, где свинья съела ему пол-лица, и это нельзя объяснить Божественным намерением? Тогда следует найти другое объяснение. Предположительно свинья была одержима бесом, которому суд мог наказать изыти. Или свинья, сама по себе лишенная свободы воли, все равно могла быть привлечена к ответственности за содеянное.

Нам это может показаться еще одним доказательством изобретательного скотства людей. Но на это можно посмотреть и по-другому: как на возвышение статуса животных. Они были частью Божьего творения и Божьего умысла, а не просто появились на земле ради удовольствия Человека и ему на пользу. В Средние века власти судили животных и со всей серьезностью рассматривали их нарушения; мы помещаем животных в концлагеря, пичкаем их гормонами и нарезаем их так, чтобы они как можно меньше напоминали нам то, что когда-то кудахтало, блеяло или мычало. В котором из миров больше посвящения? Где выше мораль?

Наклейки на бамперах и магнетики на холодильниках не дают нам забыть, что Жизнь Не Репетиция. Мы подталкиваем друг друга к современному светскому раю самореализации: личностное развитие, отношения, которые определяют нас, статусная работа, материальные блага, владение собственностью, отпуск за границей, сбережения, коллекционирование сексуальных успехов, спортзал, потребление культурных ценностей. Это же все складывается в счастье – правда ведь, правда? Это наш избранный миф, и в нем почти столько же самообмана, сколько в мифе, настаивающем на блаженстве и восхищении при последнем трубном гласе, когда раскроются могилы и исцеленные совершенные души примкнут к сонму святых и ангелов. Но что, если наша жизнь действительно рассматривается как репетиция, как подготовка, как вестибюль или любая другая метафора, но в любом случае как что-то зависящее от превосходящей ее сущности где-то в другом месте, тогда она становится одновременно менее ценной и более важной. Те части мира, откуда религия улетучилась и где присутствует общее понимание, что вот этот короткий отрезок времени – все, что у нас есть, в целом не отличаются большей важностью посвящения, нежели места, где головы по-прежнему дергаются от колокольного звона или крика муэдзина. В целом они отдались оголтелому материализму; хотя славящееся изобретательностью человеческое животное способно конструировать цивилизации, в которых религия и оголтелый материализм сосуществуют (где второй может даже быть тошнотворным последствием первой): взгляните на Америку.

Так что с того, можете ответить вы. Важно только то, что истинно. Вы предпочтете кланяться всякой околесице и портить себе жизнь в угоду попам, все во имя предполагаемого посвящения? Или же предпочтете распрячься до самого до низу и потакать всем своим капризам во имя истины и свободы? Или это ложное противопоставление?

Мой друг Дж. помнит, что мы слушали на концерте несколько месяцев назад: мессу Гайдна. Когда я ссылаюсь на последовавший диалог, он понимающе усмехается. Тогда я сам спрашиваю его: «Сколько раз за время этого произведения ты думал о нашем Господе, восставшем из мертвых?» – «Я думаю о нем постоянно», – отвечает Дж. Я не могу понять, он абсолютно серьезен или абсолютно легкомыслен, поэтому задаю вопрос, который не припомню, чтобы когда-либо задавал своим взрослым друзьям: «А ты... в какой степени ты верующий?» После тридцати лет знакомства надо уже объясниться. Долгий сдавленный смех, переходящий в кашель: «Я неверующий». Затем он поправляет себя: «Нет, я *очень* неверующий».

Монтень заметил: «Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни». Невысокое мнение об этом мире напрокат было логичным, даже обязательным для христианина: излишняя привязанность к мирскому – не говоря уж о стремлении к какой-либо форме земного бессмертия – была бы дерзостью в глазах Бога. Ближайший британский аналог Монтеня сэр Томас Браун писал: «У язычника могут наличествовать мотивы любить жизнь, но если христианин поражается <то есть напуган> смертью, то я не вижу, как

ему избежать дилеммы – либо он слишком привязан к этой жизни, либо не верит в жизнь грядущую». Поэтому Браун чтит всякого, кто презирает смерть: «И я не могу возлюбить никого, страшящегося ее; оттого я, естественно, люблю воина и чту полки оборванцев, которые умрут по команде сержанта».

Браун также отмечает, что «страшиться смерти и в то же время иногда желать ее есть симптом меланхолии». Снова Ларкин, меланхолик, дающий идеальное определение страха смерти: «Ни здесь, ни где-то нас не будет, и скоро; нет ничего ужасней, ничего верней». Ни где-то, как будто в подтверждение слов Брауна: «В основании всего жажда забвения». При первом прочтении эта строчка ошарашила меня. Я и сам, разумеется, меланхолик, и порой жизнь кажется мне весьма переоцененным времяпрепровождением, но я никогда не желал не быть более самим собой, никогда не жаждал забвения. Я не настолько убежден в ничтожности жизни, чтобы перспектива нового романа, или нового приятеля (или старого романа, или старого приятеля), или футбольного матча по телевизору (или даже повтора старого матча) не зажигала во мне интерес снова и снова. Я Браунов неудовлетворительный христианин – «слишком привязан к этой жизни либо не верю в жизнь грядущую», – кроме того, что я не христианин.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.